Мария Корелли

АРДАФ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Непризнанный и отчаявшийся поэт Теос Олвин отправляется в далёкий монастырь в Кавказских горах к духовному наставнику Гелиобазу, чтобы вернуть своё утраченное божественное вдохновение и снискать мировую славу, но неожиданно в ход событий вмешивается Высшая сила и переворачивает всю его Судьбу… Викторианский роман о запретной любви Человека и Ангела с элементами мистики и приключений, представленный в сокращении.

- Ардаф
  -
  - Часть 1. Святой и скептик
    -
    - Глава 1. Монастырь
    - Глава 2. Исповедь
    - Глава 3. Отшествие
    - Глава 4. «Ангелус Домини»
    - Глава 5. Мистическое свидание
    - Глава 6. «Нурельма» и оригинальная книга Ездры
    - Глава 7. Нежеланное благословение
    - Глава 8. По водам Вавилона
    - Глава 9. Поле цветов
    - Глава 10. Божья девица Идрис
  - Часть 2. В Аль-Кирисе
    - Глава 11. Удивительный город
    - Глава 12. Сах-Лума
    - Глава 13. Дворец поэта
    - Глава 14. Печать Верховной Жрицы
    - Глава 15. Песнь Сах-Лумы
    - Глава 16. Предвестник рока
    - Глава 17. Любовь, которая убивает
    - Глава 18. Кровавая река
    - Глава 19. Разрушение обелиска
    - Глава 20. Золотая прядь
    - Глава 21. Рассвет
  - Часть 3. Поэт и ангел
    - Глава 22. Свежие лавры
    - Глава 23. Призраки Забастеса и Мира-Кабуры
    - Глава 24. Письмо
    - Глава 25. Против всех

        - Глава 26. Гелиобаз
        - Глава 27. Утраченный манускрипт
        - Глава 28. В Кафедральном соборе
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8

Ардаф

Мария Корелли

Переводчик А. В. Боронина
Дизайнер обложки А. И. Куинджи

© Мария Корелли, 2017
© А. В. Боронина, перевод, 2017
© А. И. Куинджи, дизайн обложки, 2017

ISBN 978-5-4483-7924-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть 1. Святой и скептик

«Когда способна смертная любовь
К бессмертию вести, всё вновь и вновь
В народах честолюбье пробуждая,
Тогда, сестра, лишь прихотью считаю
Стремленье к славе тех, кто издалече
Любви бессмертной движется навстречу
И сам бессмертен. Ты в недоуменье?
Но эти вещи истинны: в строенье
Нет атомов, гудящих в нашей дрёме,
Которые, ведя к тупой истоме,
Роятся в бреднях. Нетерпенье гложет
Мой дух, который, знаю, жить не сможет
Единственной мечтой – до появленья
Надежды за тенями сновиденья»[1].

Глава 1. Монастырь

Глубоко в самом сердце Кавказских гор собиралась дикая буря. Печальные тени нависали и уплотнялись над Дарьяльским перевалом – этим ужасающим ущельем, которое, словно тонкая ниточка, казалось, протянулось между покорёнными, скованными морозом вершинами гор и черными бездонными глубинами пропастей; облака, зловеще окаймлённые аляповатой зеленью и белизной, тяжело, но стремительно плыли над острыми пиками, где заснеженная вершина горы Казбек вздымалась из тумана холодной белизной на фоне тьмы грозных небес. Приближалась ночь, хотя на западе прямой багровый разрез, словно рана на груди небес, отмечал то место, где час назад закатилось солнце. Время от времени поднимавшийся ветерок постанывал, рыдая, меж высоких и прозрачных крон сосен, которые переплетёнными корнями крепко хватались за неуступчивую почву, прочно удерживая свои позиции на камнях; и, смешиваясь с его стенающим шелестом, долетал отдалённый хриплый рёв, будто от бушующих потоков, в то время как на дальнем расстоянии можно было услышать мощный, глухой грохот лавины, затихающий то там, то здесь во время её разрушительного движения вниз. Сквозь сплетающиеся испарения крутые, голые грани ближайшей горы бледно виднелись, их ледяные пики были, как поднятые вверх кинжалы, пронзавшие острым блеском плотность низко нависавшего тумана, из которого огромные капли влаги начинали скорее сочиться, чем капать. Постепенно усиливался ветер, и скоро с неожиданной яростью его порывы потрясли сосны беспокойной дрожью; красная щель в небе закрылась, и блеск зигзагообразной молнии пересек поперёк надвигавшуюся тьму. Чудовищный громовой раскат последовал почти незамедлительно, его глубокий грохот резонировал хмурыми отголосками эха от всех стен ущелья, а затем бурлящий, шипящий ливень, неудержимая буря прорвалась вперёд, живая и яростная. Вперёд, вперёд! Расщепляя огромные сучья и раскидывая их, как солому, вздувая реки буйными потоками, что метались туда-сюда, неся с собой массы камней, и глыб, и тонны рыхлого снега; вперёд, вперёд! С безжалостной силой и разрушительной поспешностью катилась буря, громыхала и вопила на своём пути через Дарьяльское ущелье. Когда ночь потемнела и шум боровшихся стихий стал ещё более настойчивым и яростным, неожиданный мелодичный звук мягко прорезал дрожавший воздух – медленный, размеренный звон колокола. Туда и сюда, туда и сюда –

серебряный перезвон раскачивался с ненавязчивой отчётливостью; это был вечерний звон в монастыре Ларса, стоящем высоко среди скал, венчающих ущелье. Там ветер ревел и бесновался громче всего; он кружился и вертелся вокруг огромного, построенного в виде замка здания, колотя в ворота и двигая их тяжёлые стальные петли с самым болезненным стоном; он атаковал гремящие гардины в узких окнах и бушевал, и завывал на каждом углу и в каждой щели; а в это время змеиные изгибы молний угрожающе играли над высоким железным крестом, что венчал собой крышу, словно вознамерившись низвергнуть его и расколоть непоколебимые стены, которые он хранил. Всё вокруг было война и смятение, но внутри пребывало спокойствие и мир, усиленные ещё и серьёзным бормотанием органной музыки; человеческие голоса смешивались в мягком унисоне, скандируя «Магнификат», и возвышенная размеренная гармония великого древнего гимна торжественно перекрывала шум бури. Монахи, населявшие это горное орлиное гнездо, когда-то бывшее крепостью, а теперь – религиозным пристанищем, собрались вместе в их маленькой часовне – нечто вроде грота, грубо вытесанного из природного камня. Числом пятнадцать, они стояли рядами по трое; их белые шерстяные одежды касались земли, белые капюшоны откинуты назад, и мрачные лица и горящие взгляды набожно повёрнуты к алтарю, на котором сиял в странном уединённом великолепии горящий Крест. С первого же взгляда легко было заметить, что они были особенной общиной, посвящённой некой особенной форме поклонения, поскольку их одежды совершенно отличались внешним видом и деталями от всех прочих нарядов, используемых в различных религиозных братствах греческой, римской и американской конфессий; и одна особенность их внешнего вида служила явным знаком их отличия от всех известных монашеских орденов: это было отсутствие уродливого пострига. Все они были красивыми мужчинами, явно в расцвете сил, и они выводили «Магнификат» не вяло и монотонно, а мелодично и сердечно, что возбуждало слабое удивление и презрение у измученного духом невольного слушателя, стоявшего среди них. То был чужак, который прибыл в монастырь тем же вечером и который вынужден был остаться здесь на ночь, – человек выдающегося и несколько надменного вида, с мрачным, скорбным поэтическим лицом, выделявшимся главным образом смешанным выражением мечтательной пылкости и холодного презрения, – выражением, подобное которому неизвестный скульптор эпохи Адриана поймал и увековечил в мраморе у своего коронованного плющом Бахуса-Антиноя, чья наполовину

слащавая, наполовину жестокая улыбка выражала вечные сомнения во всём и во всех. Он был одет в готовый грубый костюм английского путешественника, и его атлетическая фигура в просто пошитой современной одежде выглядела комично на фоне этого мистического грота, который, с его скалистыми стенами и горящим символом спасения, казалось, подходил только для живописных, подобных пророкам фигур наряженных в белое братьев, которых он теперь и разглядывал, стоя позади их рядов с оттенком чего-то вроде насмешки в глубине гордого усталого взгляда.

«Что же это за парни? – размышлял он. – Глупцы или мошенники? Они непременно должны быть тем или другим, иначе они не стали бы петь такие дифирамбы божеству, существованию которого, быть может, и нет никаких доказательств. Это или вопиющее невежество, или лицемерие, или то и другое вместе. Я могу извинить невежество, но только не лицемерие; поскольку, какой бы ужасной ни оказалась Истина, она всё же останется Истиной; её убийственная стрела уничтожает обманчивую красоту Вселенной, но что же тогда? Не лучше ли в таком случае, чтобы Вселенная продолжала казаться прекрасной, только посредством обмана?»

Его прямые брови озадаченно сошлись в одну хмурую линию, когда он задавался этим вопросом, и он беспокойно пошевелился. Он начинал уже терять терпение; пение монахов становилось скучным для его ушей; яркий крест на алтаре слепил его зрение. Кроме того, он недолюбливал все формы религиозных служб, хотя, будучи приверженцем классических знаний, вероятно, он посетил бы праздник чествования Аполлона или Дианы с живейшим интересом. Но само название Христианства представлялось ему несносным. Подобно Шелли, он считал эту веру пошлым и варварским суеверием. Подобно Шелли, он вопрошал: «Если Бог говорил к нему, то почему мир не убедился?» Он уже начал мечтать о том, чтобы его нога никогда не переступала порога этой обители, которую он считал ложным святилищем, хотя по сути у него имелась особенная цель посещения этого места – цель, настолько расходившаяся с исповедуемыми им самим догматами в нынешней его жизни и характере, что даже мысль о ней подсознательно раздражала его, даже когда он решился достигнуть её. Пока что он только познакомился с парой монахов – учтивыми, добродушными личностями, которые встретили его по прибытии с обычным гостеприимством, которое составляло правило монастыря и оказывалось всем запоздалым путникам, переходившим через опасное Дарьяльское ущелье. Они не задавали ему никаких

вопросов ни о его имени, ни о национальности, а видели в нём просто путника, застигнутого бурей и нуждавшегося в укрытии, и приняли его соответственным образом. Они проводили его в трапезную, где весело горели дрова, и там ему подали прекрасный ужин, приправленный равно великолепным вином. Он, однако, едва только завязал разговор с ними, когда зазвонил колокол, призывая на вечернюю службу, и, подчиняясь его призыву, они поспешили прочь, оставив его наслаждаться едой в одиночестве. Покончив с ней, он немного посидел, сонно прислушиваясь к торжественным звукам органа, которые проникали во все уголки здания, и затем, движимый смутным любопытством поглядеть, сколько людей уживалось в этом одиноком убежище, подвешенном, словно орлиное гнездо, посреди морозных вершин Кавказа, он отправился на звук музыки через множество длинных коридоров и узких извилистых проходов в пещеристый грот, где и стоял теперь, ощущая бесконечную скуку и рассеянное недовольство. Его главной целью посещения часовни было увидеть всех монахов и в особенности их лица, но это оказалось невозможным, поскольку с того места, которое он вынужден был занять позади них, видны были лишь их спины.

«И кто знает, – угрюмо размышлял он, – сколько ещё они будут выводить их ужасные латинские вирши? Лжесвященство и обман! Нигде от них не скрыться, даже в диких горах Кавказа! Интересно, здесь ли тот, кого я ищу, или я, в конце концов, потерял его след? О нём рассказывают столько противоречивых историй, что не знаешь, чему и верить. Кажется невероятным, чтобы он оказался монахом; настолько нелепое завершение интеллектуального пути. Поскольку, какой бы ни была форма конфессии, исповедуемая этой братией, но абсурдность всей религиозной системы в целом остаётся неизменной. Дни религии прошли; само религиозное чувство – это простой инстинкт трусости, пережиток варварства, который постепенно искореняется из нашей природы прогрессом цивилизации. В наше время миру известно, что творение – простая насмешка; и все мы уже начинаем понимать её пошлость! И если нам приходится допускать, что существует некий верховный всевышний Шутник, который удачно скрывается в неведении и продолжает свои глупые и бесцельные шутки ради собственного развлечения и наших страданий, то нам не нужно в этом отношении восхищаться его остроумием или льстить его изобретательности! Поскольку жизнь есть не что иное, как томление и страдание; а мы разве собаки, чтобы лизать руку, которая нас бьёт?»

В этот момент пение вдруг прекратилось. Орган продолжал

играть, словно размышляя под собственную негромкую музыку, сквозь которую мягкие более высокие ноты, словно штрихи света на фоне тёмного пейзажа, подрагивали рябью; один монах отделился от всей группы и, медленно поднявшись в алтарь, повернулся лицом к своей братии. Огненный крест ярко сиял у него за спиной; его лучи, казалось, собирались сияющим нимбом вокруг его высокой, мистической фигуры; его лик, полностью освещённый и чётко видимый, был одним из тех, что запоминаются навечно своей поразительной силой, кротостью и достоинством, выраженными в каждой черте. Последний зубоскал, что когда-либо насмехался над доброй верой или честными добродетелями моментально затрепетал бы и умолк в присутствии такого человека, как этот, – человека, на ком благодать совершенной жизни покоилась, словно королевская мантия, наделяя даже его внешний вид духовным авторитетом и величием. При одном взгляде на него безразличие чужака быстро сменилось страстным интересом: подавшись вперёд, он пристально разглядывал его со смешанным удивлением и невольным восхищением; монах тем временем простёр руки, словно в благословении, и громко заговорил, и его латынь отражалась эхом от каменных стен храма размеренным темпом поэтических рифм. В переводе они гласили следующее:

«Слава Господу, Всевышнему, Верховному и Вечному!»

И единым стройным ропотом братия откликнулась:

«Слава во веки веков! Аминь!»

«Слава Господу, Повелителю духов и Господину ангелов!»

«Слава во веки веков! Аминь!»

«Слава Господу, который в Своей любви никогда не устаёт любить!»

«Слава во веки веков! Аминь!»

«Слава Господу во имя Христа, нашего Искупителя!»

«Слава во веки веков! Аминь!»

«Слава Господу за все радости прошлого, настоящего и будущего!»

«Слава во веки веков! Аминь!»

«Слава Господу за силу воли и мудрость!»

«Слава во веки веков! Аминь!»

«Слава Господу за мимолётность бытия, за радость смерти и за обещанное бессмертие в будущем!»

«Слава во веки веков! Аминь!»

Затем настала пауза, во время которой гром снаружи добавил ещё одну буйную Славу и от себя ко всем уже высказанным; органная музыка замерла в тишине, и монах теперь повернулся лицом к алтарю, благоговейно опустившись на колени. Все

присутствующие последовали его примеру, за исключением чужака, кто, будто с нарочным вызовом, решительно вытянулся во весь свой рост и, сложив руки, смотрел на сцену перед собой с совершенно безразличным видом; он ждал, что последует какая-нибудь долгая молитва, но ничего подобного. Стояла полнейшая тишина, не нарушаемая ничем, кроме дроби дождевых капель в высокое эркерное окно и дикого свиста порывов ветра. И, пока он смотрел, огненный крест начал тускнеть и бледнеть, постепенно его сверкающий блеск уменьшался до тех пор, пока наконец не исчез совсем, не оставив ни следа от своего прошлого сияния, кроме маленького яркого огонька, что постепенно принял форму семиконечной звезды, которая мерцала сквозь мрак, как подвешенный рубин. Часовня погрузилась в почти полный мрак: он едва различал даже белые фигуры стоявших на коленях монахов; навязчивое ощущение сверхъестественного, казалось, пронизывало эту глубокую тишину и плотную темноту, и, несмотря на его обычное презрение ко всем религиозным обрядам, всё это действо оказало некое неведомое и странное влияние на его воображение. Внезапная странная фантазия завладела им, будто здесь имелось ещё чьё-то присутствие, помимо его и братии, но кем были эти «кто-то ещё», он не смог бы определить. Вместе с тем это было жуткое, неприятное ощущение и одновременно очень сильное, и он испустил глубокий выдох облегчения, когда снова услышал мягкую мелодию органа и увидел, как дубовые двери грота распахнулись настежь, чтобы впустить внутрь потоки весёлого света из наружного коридора. Вирши закончились; монахи поднялись и зашагали прочь парами, но не со склонёнными головами и опущенными глазами, будто под влиянием униженного смирения, а с раскованностью и статностью, присущей королям, возвращавшимся с великой победой. Отступив немного назад, в его уединённый угол, он наблюдал, как они выходили, и вынужден был признать, что редко, или даже никогда прежде, не доводилось ему видеть более красивых представителей великолепной, здоровой и энергичной мужественности в её лучшем и ярчайшем виде. В качестве благородных представителей человеческой расы на них было приятно посмотреть; они могли бы быть воинами, принцами, императорами, как он думал, – кем угодно, но только не монахами. И всё-таки они были монахами и последователями христианской веры, которую он столь яростно осуждал, поскольку каждый из них носил на своей груди массивное золотое распятие, висевшее на цепочке и украшенное драгоценной звездой.

«Крест и звезда! – размышлял он, заметив это необычайное

бриллиантовое украшение. – Символ братства, полагаю, означающий… что? Спасение и бессмертие? Увы, они – несчастные строители замков из песка, если возлагают какие-либо надежды или доверие на эти два пустых, ничего не значащих слова! Интересно, могут ли, верят ли они искренне в Бога? Или просто разыгрывают обычную, изношенную комедию напускной веры?»

Он оглядывал их несколько задумчиво, когда их белые нарядные фигуры проходили мимо, – десятеро уже покинули часовню. Ещё двое прошли, затем ещё двое, и последним появился в одиночестве некто, шедший неспешно, с мечтательным, задумчивым видом, словно глубоко погрузившись в свои мысли. Свет устремился прямо на него через открытую дверь, когда он приблизился: это был монах, читавший Семь Славословий. Монах заметил чужака не раньше, чем тот неожиданно выступил вперёд и коснулся его руки.

– Пардон! – торопливо сказал он по-английски. – Думаю, я не ошибусь в том, что ваше имя Гелиобаз, или было таковым ранее?

Монах склонил свою прекрасную голову в лёгком, но изящном приветствии и улыбнулся.

– Я его не менял, – отвечал он, – я всё ещё Гелиобаз. – И проницательный твёрдый взгляд его голубых глаз остановился с наполовину вопросительным, наполовину сострадательным выражением на мрачном, уставшем, озадаченном лице его собеседника, который, избегая прямого взгляда, продолжил:

– Мне нужно переговорить с вами наедине. Возможно ли это сделать незамедлительно, прямо этим вечером?

– Конечно! – кивнул монах, не показывая никакого удивления от этой просьбы. – Следуйте за мной в библиотеку, там мы будем одни.

Он сразу же стал показывать дорогу, выйдя из часовни, а затем через вымощенный камнем вестибюль, где им повстречались два брата, которые впервые встретили и приняли неизвестного гостя и которые, не найдя его в трапезной, где оставили его, теперь блуждали в поисках. Увидев, в чьей компании он находился, однако, они отступили с глубоким и благоговейным почтением к личности по имени Гелиобаз; он, молча отметив это, прошёл мимо в близком сопровождении незнакомца, пока не достиг просторной, прекрасно освещённой комнаты, где стены были полностью заставлены рядами книг. Здесь, войдя и прикрыв дверь, он повернулся и оказался лицом к лицу с гостем: его высокая, внушительная фигура в скользящих белых одеждах вызывала в воображении картину какого-нибудь

святого или евангелиста; и с серьёзной, но добродушной любезностью он сказал:

– А теперь, друг мой, я в вашем распоряжении! Каким же образом Гелиобаз, мёртвый для всего мира, может послужить человеку, для которого мир пока что определённо является всем?

Глава 2. Исповедь

Вопрос его не скоро встретил ответ. Незнакомец молча стоял, две-три минуты пристально глядя на него с особой задумчивостью и рассеянностью, тяжёлая двойная кайма его длинных тёмных ресниц придавала почти что мрачный пафос его гордому и серьёзному взгляду. Вскоре, однако, это задумчивое выражение сменилось мрачным презрением.

– Мир! – медленно и с горечью проговорил он. – Вы думаете, *мне есть дело* до мира? В таком случае вы неверно меня оценили с самого начала нашего разговора и ваш некогда известный дар провидца ничего не стоит! Для меня мир – это кладбище мертвецов, поедаемых червями тварей и их подложного Создателя, которому вы были так признательны в своих молитвах сегодня, – этого дьячка, который зарывает в землю, и вурдалака, который пожирает собственных несчастных созданий! Я и сам – один из мучимых и умирающих, и я искал вас, чтобы вы просто смогли обмануть меня кратким забвением погибели и раздразнить меня миражом жизни, которого нет и быть не может! Как вы можете мне послужить? Дайте мне несколько часов передышки от несчастья! Вот всё, о чём я прошу!

Во время этой речи лицо его побледнело и осунулось, будто он страдал от какой-то болезненной внутренней агонии. Монах Гелиобаз выслушал его внимательно и терпеливо, но ничего не сказал; гость поэтому, так и не дождавшись ответа, продолжил уже более спокойным тоном:

– Осмелюсь сказать, что мои слова покажутся вам странными, но так не должно быть, если, как говорят, вы уже прошли все разнообразные стадии чистого интеллектуального отчаяния, которое в наш век чрезмерной сверхразвитости разрушает человека, который знает слишком много и задумывается слишком глубоко. Но, прежде чем продолжить, мне стоит представиться. Моё имя Олвин…

– Теос Олвин, английский писатель, я полагаю? – вопросительным тоном заметил монах.

– Именно! – воскликнул он с крайним удивлением. – Как вы узнали?

– Ваша слава, – любезно заметил Гелиобаз, взмахнув рукой и с таинственной улыбкой, которая могла означать очень многое, а могла и ничего.

Олвин слегка покраснел.

– Вы ошибаетесь, – сказал он безразлично, – нет у меня славы. Немного прославленных людей в моей стране, и среди них

самые почитаемые – это жокеи и разведённые женщины. Я просто существую на задворках искусства или профессии литератора; я – вечный неудачник и самый нежелательный тип писателей – сочинитель стихов; я не претендую, не сейчас, во всяком случае, на звание поэта. Побывав недавно в Париже, мне посчастливилось услышать о вас…

Монах слегка поклонился, и в его ярких глазах отразился проблеск насмешки.

– Вы завоевали там особенную известность и славу, я полагаю, прежде чем перешли в монашескую жизнь? – продолжал Олвин, с любопытством глядя на него.

– Правда? – и Гелиобаз, казалось, выглядел повеселевшим и заинтересованным. – На самом деле я об этом не знал, уверяю вас! Вероятно, мои действия и поступки могли случайно снабдить парижан иной темой для пересудов, помимо погоды, и я точно знаю, что обзавёлся несколькими друзьями и поразительным количеством врагов, если вы это подразумеваете под известностью и славой!

Олвин улыбнулся – улыбка его всегда была неохотной и выражала скорее грусть, чем радость, и всё же она придавала его лицу необычайную мягкость и прелесть, прямо как солнечный луч, падая на тёмную картину, окрашивает оттенки цветов мимолётным теплом лицемерной жизни.

– Любая слава подразумевает это, я думаю, – сказал он, – иначе это была бы бездарность, за которой человек прячется в безопасности; у таковой – десятки друзей и мало врагов. Посредственность поразительно процветает в наши дни: никто её не презирает, потому что каждый чувствует сегодня, как легко он сам может докатиться до неё. Исключительный талант – агрессивен, истинный гений – оскорбителен; люди обижаются, что предмет их восхищения находится всецело вне их досягаемости. Они стали, как медведи, карабкающиеся на скользкий шест; они видят великое имя над своей головой – соблазнительный сладкий кусок, на который они бы охотно набросились и пожрали, а когда их грубые усилия пропадают впустую, то они жмутся друг к дружке внизу, на земле, глядя вверх унылыми пристальными взглядами, и бессильно огрызаются! Но вы, – и тут он поглядел с сомнением, но вопросительно в открытое, спокойное лицо своего собеседника: – вы, если слухи не врут, могли бы приручить *своих* медведей и превратить их в собак, покорных и покладистых! Ваши потрясающие успехи в качестве гипнотизёра…

– Извините меня! – спокойно прервал его Гелиобаз. – Я никогда не занимался гипнозом.

– Ну, тогда в качестве спиритуалиста; хотя я не могу поверить в существование вещей, подобных спиритуализму.

– Я тоже, – ответил Гелиобаз с совершенным добродушием, – согласно общепринятому мнению. Прошу вас, продолжайте, м-р Олвин!

Олвин взглянул на него, несколько озадаченный тем, как же ему продолжать. Непонятное чувство раздражения нарастало у него внутри из-за этого монаха с крупной головой и горящими глазами – глазами, которые будто обнажали его самые сокровенные мысли, подобно молнии, что срывает кору с дерева.

– Я говорил, – продолжил он после паузы, во время которой явно обдумывал и подготавливал слова, – что вы были главным образом известны в Париже, как обладатель некой таинственной внутренней силы, – называйте её магнетической, гипнотической или духовной, как вам угодно, – которая, хоть и совершенно необъяснима, но была очевидной для всех, кто оказывался под вашим влиянием. Кроме того, посредством этой силы вы могли действовать научным образом и работать с активным началом интеллекта человека в таких масштабах, что вам удавалось каким-то чудесным способом распутывать узлы непосильных затруднений и недоумений в перегруженном мозге и восстанавливать его первозданную живость и тонус. Это правда? Если так, то используйте свою силу на мне, потому как нечто, и я не знаю что, в последнее время заморозило когда-то бьющий фонтан моих мыслей, и я утратил всю свою работоспособность. Когда человек не может больше трудиться, то лучше бы ему было умереть; жаль только, что я не могу умереть, если только не убью себя сам, что, вполне вероятно, я вскоре и сделаю. Но пока, – он на секунду замешкался, а затем продолжил: – я испытываю сильное желание окунуться в заблуждение – я использую это слово намеренно и повторю его – *в заблуждение* воображаемого счастья, хоть мне и известно, что, коль скоро я агностик и искатель истины – истины абсолютной, истины реальной, – то подобная страсть с моей стороны представляется нелогичной и безрассудной даже и мне самому. И всё же я признаюсь, что испытываю её; и в этом отношении, я знаю, проявляется слабость моей натуры. Быть может, я просто устал, – и он озадаченно провёл рукой по лбу, – или сбит с толку бесконечными, непоправимыми страданиями всего живого. Вероятно, я схожу с ума! Кто знает! Но, что бы там со мной ни происходило, вы, – если слухи не врут, – обладаете магическим даром освобождать разум от всех его проблем и переносить в сияющий Элизиум сладостных иллюзий и неземного экстаза. Сделайте это со мною, как делали прежде

и с другими, и, что бы вы ни потребовали взамен в виде золота или благодарности, – я дам вам это.

Он замолчал; ветер яростно завывал снаружи, швыряя порывистые брызги дождя на комнатное окно, высокое и арковидное, шумно постукивавшее от каждого удара, наносимого ему бурей. Гелиобаз бросил на него быстрый, испытующий взгляд, наполовину жалостливый, наполовину презрительный.

– Мне неведомы средства для временного облегчения угрызений совести, – сказал он кратко.

Олвин мрачно вспыхнул.

– Совести!.. – начал было он весьма обиженным тоном.

– Да, совести! – уверенно повторил Гелиобаз. – Есть такая штука. Вы станете утверждать, что начисто её лишены?

Олвин не удостоил его ответом – ироничный тон вопроса его разозлил.

– У вас сложилось весьма несправедливое мнение обо мне, м-р Олвин, – продолжал Гелиобаз, – мнение, которое не делает чести ни вашей обходительности, ни вашему интеллекту, простите меня за эти слова. Вы просите меня поглумиться над вами и ввести вас «в заблуждение», будто это входило когда-либо в мои привычки или же мне доставляло удовольствие дурачить страдающих человеческих созданий! Вы приходите ко мне, будто я какой-то гипнотизёр или магнетизёр, которого вы можете нанять за несколько гиней в любом цивилизованном городе Европы, – нет, я не сомневаюсь, что вы и меня считаете подобным типом, чьи просветления разума и устремлённость к небесам проявляются в верчении стола и прочем мебельном вращении. Я, тем не менее, безнадёжный профан в этой области знаний. Из меня получился бы самый скверный фокусник! Кроме того, что бы вы там ни слыхали обо мне в Париже, вы должны запомнить, что я уже не в Париже. Я монах, как вы видите, посвятивший себя своему призванию; я полностью оторван от мира, и мои обязанности и дела ныне совершенно отличны от тех, что занимали меня в прошлом. К тому же я оказывал посильную помощь тем, кто честно нуждался в ней и искал её без всяких предрассудков или личного недоверия; но теперь моя работа в миру завершена, и я более не практикую собственную науку, каковой она и является, на других, за исключением очень редких и незаурядных случаев.

Олвин слушал, и черты его лица приняли выражение ледяной надменности.

– Полагаю, из этого мне следует заключить, что вы мне ничем не поможете? – сухо проговорил он.

– А что я могу сделать? – возразил ему Гелиобаз с лёгкой улыбкой. – Всё, чего вы хотите, по вашим же словам, – это краткое забвение своих проблем. Что ж, этого легко добиться при помощи упомянутых наркотиков, если, конечно, вы решите воспользоваться ими, невзирая на их разрушительное действие на ваш организм. Вы можете одурманить свой мозг и тем самым накачать его вялыми подобиями идей; конечно, это не будут сами идеи и даже не смутные и неопределённые их образы, но всё же они могут оказаться весьма приятными, чтобы увлечь вас и на время вытеснить горькие воспоминания. Что до меня, то мои скромные познания едва ли вам помогут, поскольку не могу пообещать вам ни самозабвения, ни приятных зрительных видений. У меня есть определённая внутренняя сила – это правда, – духовная сила, которая, когда проявляется ярко, подавляет и подчиняет себе материю, и, используя её, я мог бы, если бы счёл это уместным, освободить вашу душу – тот внутренний разумный Дух, который фактически и есть вы, – из её глиняной обители и дать ей временный отрезок свободы. Но что именно вы познаете за время этого раскрепощения, будет это радость или печаль, – я совершенно не в силах предсказать.

Олвин пристально глядел на него.

– Вы верите в существование души? – спросил он.

– Определённо!

– Как в отдельную личность, которая продолжает жить, когда тело гибнет?

– Несомненно.

– И вы объявляете себя способным освободить её на время от смертной оболочки…

– Не объявляю, – спокойно перебил его Гелиобаз, – а я действительно способен на это.

– Однако при успешном ходе эксперимента ваша сила отступает? Вы не можете предсказать, куда направится освобождённый дух: к адским страданиям или же к райским удовольствиям? Вы это имеете в виду?

Гелиобаз серьёзно кивнул.

Олвин разразился жестоким смехом:

– Тогда вперёд! – воскликнул он бесшабашно. – Начинайте уже ваше колдовство! Отправьте меня туда, неважно куда, чтобы я ненадолго сбежал из этого мирского вертепа, из этой темницы с единственным крошечным окошком, через которое с предсмертными хрипами мы вглядываемся остекленевшими глазами в пустое, бессмысленное величие Вселенной! Докажите мне, что душа существует, бог мой! Докажите! И если моя отыщет прямой путь к движущей силе всего вращающегося Творения,

тогда ей следует застрять в этих проклятых колёсах и застопорить их, чтобы больше они не могли перемалывать мучений Жизни!

Он вскинул руки в диком порыве: лицо его выражало мрачную угрозу и вызов, но всё же было прекрасным той злобной прелестью мятежного и падшего ангела. Его дыхание часто вырывалось из груди, он словно бросал вызов некому невидимому противнику. Гелиобаз тем временем наблюдал за ним, скорее как мог бы наблюдать врач за течением какой-то новой болезни у своего пациента, затем он сказал намеренно холодным и спокойным тоном:

– Дерзкая идея! Исключительно богохульная, заносчивая и, к счастью для всех нас, невыполнимая! Позвольте заметить, что вы перевозбуждены, м-р Олвин; вы говорите, как сумасшедший, а не как разумный мужчина. Ну же, – и он улыбнулся той улыбкой, что была одновременно серьёзной и милой, – вы измотаны силой собственного отчаяния, отдохните несколько минут и успокойтесь.

Его голос, хоть и мягкий, был исключительно властным, и Олвин, встретив открытый взгляд его спокойных глаз, почувствовал необходимость подчиниться озвученному приказу. Поэтому он апатично упал в мягкое кресло рядом со столом, усталым движением отбросив назад короткие крупные локоны со лба; он был очень бледен, чувство стыда и неловкости охватило его, и он вздохнул быстрым вздохом исчерпанной страсти. Гелиобаз уселся напротив и серьёзно глядел на него, он с сочувственным вниманием изучал черты лица, выражавшие уныние и усталость, которые искажали красоту противоположных качеств: честности, поэтичности и благородства. Он повидал множество подобных людей. Людей в расцвете молодости, которые начинали свою жизнь, исполненные возвышенной веры, надежды и высоких устремлений, но чьи прекрасные идеалы позже были разбиты в ступе современного атеизма, погибнув навечно, в то время как сами они, подобно золотым орлам, внезапно и жестоко подстреленным в воздушном полёте, безнадёжно пали с подломленными крыльями посреди пыльной свалки мира, чтобы никогда уже не подняться и не воспарить к солнцу снова. От этих размышлений голос его тронуло очевидное сострадание, когда после паузы он мягко заговорил:

– Бедный мальчик! Несчастный, сбитый с толку, измождённый разум, который готов судить Вечность по меркам лишь смертного! Вы были гораздо более честным поэтом, Теос Олвин, когда, будучи глупцом по мирским понятиям, но вдохновлённым небесами парнем, вы верили в Бога, и поэтому в божественной радости видели во всём хорошее!

Олвин поднял глаза, губы его дрожали.

– Поэт, поэт! – пробормотал он. – Зачем дразнить меня этим званием? – Он выпрямился в кресле: – Я расскажу вам всё, – сказал он вдруг, – вам следует узнать, отчего я превратился в такую вот бесполезную развалину; хотя, быть может, я только напрасно утомлю вас.

– Нисколько, – любезно отвечал Гелиобаз, – рассказывайте свободно, но помните, что я не принуждаю вас к откровенности.

– Напротив, думаю, что принуждаете! – И снова эта слабая полупечальная улыбка промелькнула на мгновение в глубине его тёмных глаз: – Хотя вы, быть может, этого и не осознаёте. Так или иначе, я чувствую необходимость излить вам свою душу: я слишком долго молчал! Вы знаете, как это бывает в мире: человек вынужден всегда молчать, всегда закрываться от чужого горя и вымучивать улыбку за компанию со всей прочей страдающей, насильно улыбающейся толпой. Мы никогда не можем быть самими собой – подлинными самими собой, ведь если бы так, то воздух задрожал бы от наших непрестанных причитаний! Чудовищно даже подумать обо всех сдерживаемых страданиях человечества, обо всех невообразимо отвратительных муках, что вечно пребывают немыми и тайными! Когда я был молод (а как давно это мне видится! Да, хотя мой истинный возраст всего лишь тридцать, я чувствую на своих плечах тяжесть веков!), когда я был молод, мечтой всей моей жизни была поэзия! Вероятно, я унаследовал роковую любовь к ней от своей матери: она была гречанкой, и внутри неё жила тонкая музыка, которую ничто не могло заглушить, даже холодность моего отца-англичанина. Она назвала меня Теос[2], едва ли предполагая, какой жестокой насмешкой это обернётся! Хорошо, как мне кажется, что она умерла рано.

– Хорошо для неё, но, наверное, не так уж хорошо для вас, – сказал Гелиобаз, глядя добродушным проницательным взором.

Олвин вздохнул.

– Нет, пожалуй, для нас обоих, поскольку я бы бередил её сдержанную нежность и она бы, безусловно, во мне разочаровалась. Мой отец был добросовестным, методичным предпринимателем, который проводил все дни напролёт почти до самой смерти за накоплением денег, хотя они никогда и не приносили ему радости, насколько я мог видеть, и когда с его смертью я стал единоличным обладателем его с трудом заработанного состояния, то ощутил скорее печаль, чем удовлетворение. Я желал, чтобы он растратил всё своё золото на себя, а меня оставил бедняком, ведь мне представлялось, что у меня не было нужды ни в чём, кроме той малости, что я

зарабатывал своим пером; я был бы рад жить отшельником и обедать коркой хлеба во имя той божественной музы, которую я боготворил. Судьба, однако, устроила всё наоборот, и, хотя я едва думал об унаследованном богатстве, оно, наконец, принесло мне одну радость: совершенную независимость. Я мог свободно следовать собственному призванию и на краткий удивительный миг я даже считал себя счастливым… счастливым, каковым Китс, вероятно, был, когда фрагменты «Гипериона» ворвались в его бренную жизнь, как прорывается гром из летней тучи. Я был как монарх, размахивающий скипетром, который повелевает небом и землёй; моё царство – царство золотого эфира – населяли сияющие формы Изменчивости, – увы! – врата его закрыты теперь для меня, и мне не суждено вновь войти в них никогда!

– Никогда – это долгий срок, друг мой! – любезно заметил Гелиобаз. – Вы слишком подавлены и, вероятно, слишком скромны в оценке своих способностей.

– Способностей! – устало рассмеялся он. – Нет у меня их – я слаб и неумел, как необученный ребёнок, музыка моего сердца не звучит! Но я бы отдал всё ради того, чтобы возвратить былое восхищение, когда пейзаж заката солнца над холмами или преображение моря в лунном свете наполняли меня глубоким и неописуемым экстазом; когда мысль о любви, словно отклик струны магической арфы, ускоряла мой пульс безумным восторгом; густые, как летняя листва, фантазии заполняли мой ум; Земля была круглым очарованием на груди улыбчивого Божества; мужчины были богами, а женщины – ангелами; мир представлялся ничем иным, как широким свитком для подписей поэтов, и моя, клянусь вам, была там чётко выведена!

Он остановился, будто устыдившись собственной горячности, и посмотрел на Гелиобаза, кто, подавшись немного вперёд на кресле, глядел на него с дружелюбным, внимательным интересом; затем он продолжил уже более спокойным тоном:

– Достаточно! Думаю, тогда во мне было что-то – что-то, бывшее новым и диким и, хоть это и покажется вам самохвальством, исполненное чарующего блеска под названием «вдохновение»; но, чем бы это ни было, – зовите это гением, насмешкой, как вам будет угодно, – вскоре оно погибло во мне. Мир обожает убивать своих певчих птиц и пожирать их на завтрак; одно маленькое нажатие пальцев на певучее горлышко – и оно замолкает навеки. Это узнал я, когда наконец со смешанной гордостью, надеждой и трепетом опубликовал свои стихи, не требуя за них иной награды, кроме беспристрастного суждения и справедливости. Они не снискали ни того, ни другого, их лишь беспечно перебросили из рук в руки несколько

критиков, недолго поглумившись, и в итоге швырнули мне обратно, как враньё и сплошную ложь! Тонкие кружева паутины фантазии, изящные переплетения лабиринтов мысли были разодраны на куски с меньшим сожалением, чем чувствуют испорченные дети, ломая ради жестокой забавы бархатистое чудо крыла мотылька, или лепестки сияющей розы, или изумрудные крылья стрекозы. Я был глупцом, как говорили обо мне с вялой усмешкой и пресными шуточками, рассказывая о скрытых тайнах шёпота ветра и плеска волн; подобные звуки есть не что иное, как обычные причины и следствия законов природы. Звёзды – обычные скопления нагретых паром масс, уплотнившихся за века до состояния метеоров, а из метеоров – до миров, и всё это продолжает вертеться на определённых орбитах, никто не знает по какой причине, но это никого и не волнует! А любовь – ключевой момент всей темы, которому я ошибочно приписывал гармонию всей жизни, – любовь была лишь прекрасным словом, употребляемым для вежливого определения низменного, но очень распространённого чувства грубого животного влечения; короче говоря, поэзия, подобная моей, оказывалась одновременно абсурдной и устаревшей при столкновении с фактами повседневного существования – фактами, которые попросту учили нас, что главная задача человека здесь, внизу, это просто жить, размножаться и умирать – жизнь шелкопряда или гусеницы на чуть более высоком уровне развития; а за гранью всего этого – ничто!

– Ничто? – проговорил Гелиобаз тоном, предполагающим вопрос. – В самом деле ничто?

– Ничто! – повторил Олвин с видом смиренного отчаяния. – Ведь я узнал, что, согласно выводам, полученным самыми прогрессивными мыслителями современности, нет Бога, нет души, нет загробной жизни – высочайшей награды самых далёких небес; честолюбивые умы обречены закончить небытиём, крахом и уничтожением. Среди прочих безрадостных, жестоких истин, что обрушились на меня градом камней, полагаю, эта была коронной, той самой, что и убила моего внутреннего гения. Я использую слово «гений» по глупости: в конце концов, сам гений – не повод для хвастовства, раз он лишь болезненное, нездоровое состояние интеллекта, или, по крайней мере, был представлен мне таковым одним моим учёным другом, который, видя, что я находился в расстроенных чувствах, приложил все усилия, чтобы сделать меня ещё несчастнее, если это было возможно. Он доказал, – если не к моей, то уж точно к его собственной радости, – что аномальное положение определённых молекул в мозгу производит эксцентриситет, или специфические

отклонения в одном направлении, которые на практике можно описать, как интеллектуальную форму мономании, но которую большинство людей предпочитают именовать «гением»; и с этой чисто научной точки зрения становится очевидным, что поэты, художники, музыканты, скульпторы и все широко известные великие люди на земле должны попадать под категорию так или иначе подверженных влиянию образования аномальных молекул, которые, строго говоря, являют собой уродство мозга. Он уверял меня, что для правильно сбалансированного, здорового мозга человеческого существа гений невозможен, это болезнь, столь же неестественная, сколь и редкая. «И это странно, весьма странно, – добавлял он с довольной улыбкой, – что мир обязан всеми своими прекраснейшими видами искусства и литературы нескольким разновидностям молекулярной болезни!». Я тоже полагал это весьма странным, однако не утруждал себя спорами с ним; я только чувствовал, что если заболевание «гения» когда-либо и поражало меня, то совершенно определённо, что теперь я больше уж не страдал от его восхитительных приступов и медово-сладкой горячки. Я был исцелён! Скальпель мирского цинизма нашёл путь к музыкально пульсирующему центру божественного недуга в моём мозге и навсегда перерезал рост прекрасных фантазий. Я отбросил яркие иллюзии, которыми когда-то услаждался; я заставил себя смотреть непоколебимым взглядом на обширные растраты всеобщего Ничтожества, открытого мне жестокими позитивистами и иконоборцами века; но внутри меня погибло моё сердце; всё моё существо погрузилось в ледяную апатию; больше я не пишу и сомневаюсь, что когда-либо смогу писать вновь. По правде сказать, не о чем и писать. Всё уже сказано. Дни трубадуров миновали, нельзя создать гимн любви для мужчин и женщин, чья главная страсть – это жажда золота. И всё же порой я думаю, что жизнь была бы ещё ужаснее, если бы голоса поэтов вовсе не звучали; и я хотел бы – да! – я хотел бы, чтобы в моих силах было начертать собственноручную подпись на бронзовом лике этого холодного, бездушного века, глубоко оттеснить её этими буквами живой лиры под названием Слава!

Взгляд, выражавший разбитые устремления и неудовлетворённые амбиции, появился в его задумчивых глазах; его сильные изящные руки нервно сжимались, словно хватали некую невидимую, но вполне осязаемую сущность. Как раз в тот момент буря, которая практически стихла в последние минуты, возобновила свой гнев: вспышки молнии засверкали сквозь незанавешенное окно, и тяжёлые раскаты грома разразились над головой внезапным грохотом взорвавшейся бомбы.

– Вас заботит слава? – внезапно спросил Гелиобаз, как только ужасающий рёв утонул вдали и унылый грохот смешался со стуком града.

– Да, заботит! – отвечал Олвин, и его голос был очень тих и задумчив. – Поскольку, хоть мир и кладбище, как я уже говорил, набитое безымянными могилами, но всё же то и дело встречаются образцы, подобные могилам Шелли или Байрона, на которых бледные цветы, как нежные импровизации вечно молчащей музыки, взрываются бесконечным цветением. И разве я не заслуживаю собственного посмертного венка из асфоделей?

Был некий неописуемый, почти душераздирающий пафос в его последних словах – безнадёжность всех усилий и чувство отчаяния и краха, которое он сам, казалось, сознавал, поскольку, встретив пристальный и серьёзный взгляд Гелиобаза, он быстро вернулся к своей обычной манере ленивого безразличия.

– Видите ли, – проговорил он с вымученной улыбкой, – моя история не так уж интересна! Ни головокружительных побегов, ни леденящих кровь приключений, ни любовных интриг – ничего, кроме душевных страданий, к которым немногие люди питают симпатии. Ребёнок, порезавший палец, встречает больше всеобщего сочувствия, чем мужчина с измученным разумом и разбитым сердцем, и всё-таки не может быть никаких сомнений по поводу того, которое из этих двух страданий более долгое и мучительное. Однако таковы мои беды – я поведал вам всё; я распахнул перед вами «рану моей жизни» – рану, которая пульсирует, и ноет, и горит сильнее с каждым днём и часом, так что не удивительно, я полагаю, что я отправился на поиски небольшого облегчения страданий, краткого пространства грёз для недолгого отдыха и побега от смертоносной Истины – истины, что, подобно горящему мечу, помещённому на востоке легендарного Эдема, оказывается беспощадной во всех отношениях, держа нас на расстоянии от утраченного рая творческих устремлений, которые делают людей прошлого великими, потому что они считали себя бессмертными. Это была великая вера! Это крепкое сознание того, что во время перемен и потрясений вселенной душа человека должна навеки отвергнуть катастрофу! Но теперь, когда мы знаем, что у нашей жизни не больше ценности, чем, собственно говоря, у какой-нибудь бактерии в застоявшейся воде, – какие великие дела могут вершиться, какие благородные подвиги созидаются перед лицом провозглашённой и доказанной тщетности всего сущего? И всё же, если вы можете, как говорите, высвободить меня из плотской тюрьмы и подарить мне новые чувства и впечатления, в таком случае позвольте мне улететь со всей

возможной скоростью, ведь я уверен, что не встречу на бушующих просторах космоса ничего хуже, чем жизнь, которой живёт нынешний мир. Знайте, что я весьма скептически настроен против вашей силы, – он остановился и поглядел на белые священнические одежды сидевшего напротив, а затем добавил легкомысленно: – но мне всё равно любопытно её испытать. Вы готовы к вашим заклинаниям? И стоит ли мне произнести «Ныне отпущаеши»?

Глава 3. Отшествие

Гелиобаз молчал, казалось, его занимали глубокие, беспокойные размышления, и он не спускал пристального взгляда с лица Олвина, будто отыскивал на нём решение некой сложной загадки.

– Что вам известно о «Ныне отпущаеши»? – спросил он наконец с полуулыбкой. – Вы с таким же успехом могли бы произносить и «Отче наш»: что гимн, что молитва – для вас одинаково лишены смысла! Поскольку вы и есть поэт, – или, лучше скажу, вы им *были*, – поскольку не рождалось ещё поэта – атеиста…

– Вы заблуждаетесь, – быстро прервал его Олвин: – Шелли был атеистом.

– Шелли, мой дорогой друг, *не был* атеистом. Он стремился стать таковым, – нет, он таковым притворялся, – но сквозь его поэмы нам слышится голос его внутреннего и лучшего воззвания к тому Божественному и Вечному, чьё присутствие, несмотря на его материализм, он инстинктивно ощущал в себе. Я повторяю, поэт, каковым вы были раньше, и поэт, каковым вы станете в будущем, когда облака в вашем разуме прояснятся, – вы представляете странное, но необычайное зрелище бессмертного духа, сражающегося за то, чтобы опровергнуть его собственное бессмертие. Одним словом, вы не веруете в душу.

– Я не могу! – сказал Олвин с жестом отчаяния.

– Почему?

– Наука не способна предоставить нам ни одного доказательства её существования; её не могут отыскать.

– Что вы подразумеваете под «наукой»? – спросил Гелиобаз. – Подножье горы, у которой человек пребывает ныне, пресмыкающийся и незнающий, как на неё взобраться? Или саму её сияющую вершину, которая соприкасается с Божественным троном?

Олвин не ответил.

– Скажите мне, – продолжал Гелиобаз, – как вы определяете жизненное начало? Какая таинственная служба отвечает за сердцебиение и кровообращение? Посредством крошечного фонарика сегодняшней так называемой науки сможете ли вы пролить свет на тёмную головоломку с виду бесполезной Вселенной и объяснить мне, почему мы вообще живём?

– Эволюция, – кратко отвечал Олвин, – и необходимость.

– Эволюция из чего? – настаивал Гелиобаз. – Из одного атома? *Какого* атома? И *откуда* взялся этот атом? И что

за *необходимость* в каком-либо атоме?

– Человеческий разум буксует на подобных вопросах! – сказал Олвин раздражённо и нетерпеливо. – Я не способен ответить на них! Никто не способен!

– Никто? – Гелиобаз очень спокойно улыбнулся. – Не будьте в этом так уверены! И с чего бы человеческому разуму «буксовать»? Проницательному, расчётливому, ясному человеческому разуму, который никогда не утомляется, и не удивляется, и не смущается! Который устраивает всё самым практичным и благоразумным образом и, вместе с тем, избавляется от Бога, как от лишнего участника торговой сделки, нежелательного в общей экономике нашей маленькой солнечной системы! Ай, человеческий разум – удивительная вещь! И при этом с помощью резкого, верного удара вот этим, – и он вытащил из стола нож для бумаги с массивной, оправленной в серебро костяной ручкой, – я мог бы настолько заглушить его, что душа утратила бы всякое сообщение с ним, и он лежал бы мёртвой массой внутри черепа, не более полезный для своего хозяина, чем парализованная конечность.

– Вы хотите сказать, что мозг не может действовать без руководства души?

– Именно! Если ручки на циферблате телеграфа не откликаются аккумулятору, то телеграмму невозможно будет расшифровать. Но было бы глупо отрицать существование аккумулятора по той причине, что циферблат неисправен! Подобным образом, когда из-за физической немощи или наследственного заболевания мозг не способен более получать внушений или электрических сигналов от души, он практически бесполезен. И всё же душа находится в нём постоянно, молча ожидая освобождения и иной возможности развития.

– Это и есть ваше понимание идиотизма и маний? – недоверчиво спросил Олвин.

– Вероятнее всего; идиотизм и мании всегда происходят от человеческого вмешательства в законы жизнедеятельности организма или природы, иначе никак. Душа, помещённая внутри нас Творцом, оказывается замороженной человеческой свободной волей; если человек по своей свободной воле выбирает следование в неверном направлении, то ему остаётся винить лишь себя за катастрофические последствия такого выбора. Вы, вероятно, спросите, зачем же Господь наделил нас свободной волей, ответ прост: чтобы мы могли служить ему добровольно, а не принудительно. Среди бесчисленного множества миров, что ясно и несомненно доказывают Его доброту, с чего бы Ему стремиться принудить к подчинению нас, изгнанников!

– Раз уж мы об этом заговорили, – произнёс несколько насмешливо Олвин, – если уж вы уверяете, что Бог есть, и наделяете его свойством высшей любви, то с какой стати, во имя Его же предполагаемой неистощимой благости, мы вообще вынуждены быть изгоями?

– Потому что с нашей самонадеянной гордостью и эгоизмом мы сами избрали этот путь, – отвечал Гелиобаз. – Мы пали, подобно ангелам. Но теперь мы не совсем изгои, с тех пор как этот символ, – и он коснулся креста на груди, – воссиял в небесах.

Олвин презрительно пожал плечами.

– Простите меня, – прохладным тоном проговорил он, – при всём желании уважать ваши религиозные убеждения, я действительно не способен, говоря откровенно, принять догматы старой веры, которую все прогрессивные умы современности отрицают как просто невежественное суеверие. Сын плотника из Иудеи, несомненно, был очень уважаемой личностью – учителем-социалистом, чьи принципы были весьма выдающимися в теории, но невыполнимыми на практике. Что была хоть капля божественного в нём, я категорически отрицаю; и признаюсь, я удивлён, что вы, человек очевидно культурный, кажется, не видите глубокой абсурдности Христианства, как системы моральных принципов и основы цивилизации. Оно ведь вечно сеет семена раздора и ненависти между народами; оно стало casus belli[3] для всех морей жестокого и никому не нужного кровопролития…

– Скажите мне что-нибудь новенькое по этому поводу, – прервал его Гелиобаз с лёгкой улыбкой. – Я уже столько раз слышал всё это прежде от различных типов людей – и образованных, и невежественных, которые намеренно упускают всё, что сам Христос пророчествовал касательно Его кредо самоотречения, столь сложного для эгоистичного человечества: «Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я принести, но меч…». А также: «И все будут ненавидеть вас из-за имени Моего… и гнать и всячески неправедно злословить за Меня». Такие простые слова будто полностью позабыты нынешним поколением. И, знаете, я нахожу любопытным недостаток новизны у так называемых «вольнодумцев»; фактически, их идеи едва ли возможно назвать «вольными», коль скоро все они вращаются в столь узких колеях, что бредущее на бойню стадо овец под предводительством мясника не могло бы заблуждаться сильнее в своём покорном, блеющем невежестве относительно того, куда они идут. Ваши суждения, к примеру, ни на йоту не отличаются от мыслей тех простых хамов, которые, читая свою грошовую радикальную

газету, считают, что способны обходиться без Бога, и говорят о «сыне плотника из Иудеи» так же легкомысленно и непочтительно, как и вы. «Прогрессивные умы современности», к которым вы апеллируете, чрезвычайно ограничены в своём понимании, и ни один из них, литератор или нет, не имеет такого кругозора, как был у любого из этих вот погибших или исчезнувших писателей, – и он обвёл рукой окружавшие их книжные полки, – которые жили века назад, а сейчас, насколько показывает современная публика, позабыты. Все фолианты здесь – пергаментные рукописи, скопированные с оригинальных плит обожжённой глины, каменных табличек и выгравированных пластин слоновой кости, и среди них есть один изобретательный трактат некого Ремени Арданоса, главного астронома тогдашнего царя Вавилона, описывающий атом и теорию эволюции с гораздо большей точностью и ясностью, чем любой из ваших современных профессоров. Все подобные предположения стары – стары как мир, уверяю вас; и наши сегодняшние дни, в которые вы живёте, гораздо более походят на второе детство мира, чем на его передовой расцвет. В особенности в вашей стране всеобщий маразм, похоже, достиг своего апогея, поскольку там у вас живут люди, поистине забывающие, высмеивающие или отрицающие своих же величайших представителей, кто составляет единственную вечную славу их истории; они даже сделали всё невозможное для того, чтобы очернить незапятнанную славу Шекспира. В этой земле вы, – кто, согласно вашим же собственным словам, начал гонку жизни, исполненным высоких надежд и вдохновения, к ещё более высокой цели, – вы были отравлены грязной атмосферой атеизма, которая, медленно и коварно проникает во все слои общества, а в особенности, в высшие его слои, которые, по мере того как становятся с каждым днём всё более небрежными по отношению к нравственности и всё более развязными в своём поведении, считают себя слишком мудрыми и «высококультурными» для того, чтобы во что-то верить. Это самая нездоровая атмосфера, исполненная заболеваний и микробов национальной болезни и упадка; непросто дышать ею, избегая заразы; и в вашем отрицании божественности Христа я виню вас не более, чем стал бы винить несчастное создание, сражённое чумой. Вы подхватили негативную, агностическую и атеистическую инфекцию от других – она не есть естественное, здоровое состояние вашего характера.

– Напротив, так и есть, насколько обстоят дела, – сказал Олвин с печальным пылом. – Говорю вам, я поражён, крайне поражён, что вы, с вашим умом, способны придерживаться такой

варварской идеи, как божественность Христа! Человеческий разум восстаёт против неё; и, в конце концов, относитесь к этому как угодно несерьёзно, но разум – единственная вещь, которая немного возвеличивает нас над уровнем животных.

– Нет, животные пользуются даром рассудка вместе с нами, – ответил Гелиобаз, – и человек лишь доказывает собственное невежество, если отрицает этот факт. На самом деле часто даже насекомые проявляют больше благоразумия, чем мы, – любой истинно талантливый натуралист согласился бы со мною в этом утверждении.

– Так-так! – и Олвин начал терять терпение. – Рассудок или не рассудок, а я повторяю, что легенда, на которой основывается Христианство, абсурдна и нелепа, поскольку, будь в ней хоть капля истины, Иуда Искариот вместо вселенского осуждения должен был бы снискать честь и быть канонизирован, как первый святой!

– Должен ли я напомнить вам первые дни наставничества? – мягко спросил Гелиобаз. – В книге, которую вы, кажется, позабыли, вы найдёте точное пророчество Христа: «Горе тому человеку», который Его предал. Говорю вам, как бы мало значения вы ни придавали этому, нет ни единого слова, сказанного Безгрешным здесь, на земле, которое уже, или в будущем, не исполнилось бы. Но я не желаю вступать в словопрения с вами; вы поведали мне свою историю, я выслушал её с интересом и, могу ещё прибавить, с сочувствием. Вы поэт, поверженный материализмом, потому что вам не достало сил противостоять ему; вы бы охотно возвратили свою певучую речь – и это и есть главная причина, отчего вы пришли ко мне. Вы полагаете, что если получите тот необычайный опыт, который другие имели под моим руководством, то смогли бы возвратить своё вдохновение, хотя вы и не знаете, почему так решили, – не знаю и я, но могу лишь догадываться.

– И ваша догадка?.. – спросил Олвин с видом задетого безразличия.

– Что некая высшая сила работает над вашим спасением и безопасностью, – ответил Гелиобаз. – Что это за сила, я не отважусь предполагать, но ангелы всегда рядом с нами!

– Ангелы! – рассмеялся вслух Олвин. – Сколько ещё вы наплетёте мне сказок при помощи вашего по-восточному богатого воображения? Ангелы! Видите ли, мой добрый Гелиобаз, я полностью допускаю, что вы, быть может, очень умный человек со странным предубеждением в пользу Христианства, но должен попросить, чтобы вы не говорили мне об ангелах, духах и прочей ерунде, словно я какой-то ребёнок, ожидающий развлечений,

а не взрослый мужчина с…

– Со столь взрослым интеллектом, что он уже перерос самого Бога! – невозмутимо закончил Гелиобаз. – Именно так! И всё же ангелы, в конце концов, всего лишь бессмертные души, подобные вашей или моей и освобождённые от своей земной обители. Например, когда я вот так смотрю на вас, – и он устремил на него яркий, проницательный взор: – я вижу гордого, сильного, мятежного ангела в далёкой глубине вашей человеческой оболочки… а вы… когда вы смотрите на меня…

Он замолчал, поскольку Олвин в тот момент выпрыгнул из кресла и, пристально уставившись на него, издал быстрое, яростное восклицание.

– Ах! Теперь я понимаю! – вскричал он с внезапным чрезвычайным волнением. – Я отлично вас знаю! Мы уже встречались с вами прежде! Почему, после всего случившегося, мы с вами снова встречаемся?

Эта необычайная речь сопровождалась ещё более необычайным преображением его лица: мрачное, яростное торжество вспыхнуло в его взгляде, и в суровом, хмуром удивлении и вызывающем выражении лица и поведении было нечто величественное, но ужасающее, зловещее и, вместе с тем, сверхъестественно возвышенное. Он стоял так несколько мгновений, мистически мрачный, словно некий горделивый, лишённый короны император, встречающий своего победителя; раскатистый, продолжительный громовой удар снаружи, казалось, привёл его в чувства, и он плотно прижал руками свои веки, будто в попытке скрыться от какого-то подавляющего видения. После паузы он снова поднял взгляд – дикий и смущённый, почти умоляющий, – и Гелиобаз, заметив его, поднялся и приблизился к нему.

– Мир! – сказал он тихим выразительным голосом. – Мы признали друг друга, но на земле подобное узнавание кратко и вскоре забывается! – Он выждал несколько мгновений, затем осторожно продолжил: – Ну же, взгляните на меня теперь!.. Что вы видите?

– Ничего… только вас! – ответил он, глубоко вздохнув. – И всё же… весьма странно, минуту назад мне показалось, что вы выглядели по-другому… мне показалось, я видел… неважно что! Не могу описать! – Его брови сошлись в задумчивом выражении. – Это было любопытное явление, очень любопытное… и оно странным образом на меня повлияло… – Он резко замолчал, затем прибавил с лёгкой примесью раздражения: – Я вижу, вы поднаторели в искусстве оптического обмана!

Гелиобаз мягко рассмеялся.

– Конечно! Чего ж ещё вам было ожидать от шарлатана, фокусника и монаха! Обмана, надувательства, мой дорогой сер!.. Но не вы ли просили, чтобы вас одурачили?

В его вопросе прозвучала добродушная, едва заметная насмешка; он бросил взгляд на высокие дубовые часы, что стояли в одном углу комнаты, – стрелки показывали одиннадцать.

– А теперь, м-р Олвин, – продолжил он, – думаю, на сегодня мы уже достаточно наговорились, и мой совет вам – пойти отдохнуть и поразмыслить обо всём, что я вам сказал. Я полон желания вам помочь, если смогу, но с вашими верованиями, или скорее неверием, я, не колеблясь, скажу вам откровенно, что влияние моей внутренней силы на вашу в нынешнем состоянии может оказаться чреватым опасностью и страданиями. Вы говорили об Истине, «смертоносной истине»; это, однако, есть не что иное, как истина, согласно мирскому мнению, которая меняется с течением поколений, и по этой причине никакая вовсе не истина. Существует иная Истина – непреходящая истина, стержень всей жизни, которая никогда не меняется; и только с ней одной и имеет дело моя наука. Если я решусь освободить вас, как вы того желаете; если ваш разум также внезапно проснётся от ослепляющего ужаса ваших ошибочных суждений о жизни, смерти и будущности, – то результат может оказаться гораздо более ошеломляющим, чем вы или я можем себе представить! Я объяснил вам, на что я способен, ваше неверие не меняет реальности моих возможностей. Я могу разделить вас, – то есть вашу душу, которую вы не можете отыскать, но которая тем не менее существует, с вашим телом, – как мотылька с куколкой; но я не смею даже вообразить себе, в какое жаркое пламя мотыльку не следовало бы лететь! Вы можете в этом временном состоянии разъединённости получить тот новый импульс для ваших мыслей, которого так страстно жаждете, а можете и не получить; короче, невозможно построить догадку относительно того, принесёт ли вам этот опыт божественный экстаз или неописуемый ужас. – Он помолчал немного, Олвин наблюдал за ним со скрытой напряжённостью, граничившей с очарованием, и затем он продолжил: – Самое лучшее, в любом случае, чтобы вы обдумали это дело более тщательно, чем до сих пор; поразмыслите над этим внимательно и ответственно до этого же часа завтрашнего дня, затем, если вы всё же решитесь…

– Я решился уже *сейчас*! – проговорил Олвин медленно и решительно. – Если вы так уверены в собственных силах, то вперёд! Разомкните мои оковы! Распахните двери тюрьмы! Отпустите меня отсюда прямо сегодня; нет лучшего времени, чем

сейчас!

– Сегодня! – и Гелиобаз устремил на него свой проницательный, яркий взгляд, выражавший удивление и упрёк. – Сегодня, без всякой веры, подготовки и молитвы вы просите швырнуть вас через пространства миров, словно пылинку в бушующий шторм? За пределы сверкающего вращения бесчисленных звёзд – сквозь блеск подобных мечу летящих комет – сквозь тьму – сквозь свет – сквозь бездны глубочайшей тишины – выше сверхзвуковых вибраций звука – *вы*, вы посмеете блуждать по этим созданным Богом пространствам, вы – богохульник и неверующий в Бога!

Голос его дрожал от страсти, вид у него был такой торжественный, и серьёзный, и впечатляющий, что Олвин, удивлённый и напуганный, недолго пребывал в молчании, а затем, гордо вскинув голову, отвечал:

– Да, *я посмею*! Если я бессмертный, то испытаю свою неуязвимость! Я встречусь с Богом лицом к лицу и найду этих ангелов, о которых вы говорите! Что сможет мне помешать?

– Найдёте ангелов! – Гелиобаз печально поглядел на него при этих словах. – Нет! Помолитесь лучше, чтобы они смогли найти *вас*! – Он долго и пристально смотрел в лицо Олвина, на котором как раз тогда показался лёгкий проблеск довольно насмешливой улыбки, и, когда он смотрел, его собственное лицо вдруг омрачилось выражением неясной тревоги и беспокойства, и странная дрожь заметно потрясла его с головы до пят.

– Вы дерзки, м-р Олвин, – сказал он наконец, слегка отстраняясь от своего гостя и говоря с видимым усилием, – дерзки до глупости, но вместе с тем вы ведь невежественны относительно того, что лежит под завесой невидимого. Я был бы сильно виноват перед вами, если бы отправил вас сегодня, без всякого руководства, совершенно не подготовленного. Я и сам должен подумать и помолиться, прежде чем рискну взять на себя такую ужасную ответственность. Завтра, быть может, сегодня – нет! Я не могу и даже не стану!

Олвин ярко вспыхнул от гнева. «Обманщик! – подумал он. – Он чувствует, что не имеет никакой власти надо мною, и он боится пойти на риск и потерпеть неудачу!»

– Верно ли я расслышал? – спросил он вслух холодным решительным тоном. – Вы не можете? Вы не станете?.. Бог мой! – и его голос повысился. – А я говорю, что вы должны! – Когда он выпалил эти слова, поток неописуемых чувств захватил его: он будто весь, без остатка, отдался во власть какой-то таинственной непреодолимой высшей воли; он ощутил себя одновременно человеком и полубогом и, действуя под напором непреодолимого

импульса, которого он не мог ни объяснить, ни сдержать, он сделал два или три поспешных шага вперёд; тогда Гелиобаз, стремительно отступая, отмахнулся от него красноречивым жестом, выражавшим одновременно призыв и угрозу.

– Назад! Назад! – предупредительно закричал он. – Если вы приблизитесь ещё хоть на дюйм, то я не могу отвечать за вашу безопасность! Назад, я сказал! Боже мой! Вы же не ведаете собственной силы!

Олвин едва обращал на него внимание: какое-то роковое влечение захватило его, и он всё шёл вперёд, когда вдруг неожиданно остановился, весь отчаянно дрожа. Его нервы начали остро пульсировать, кровь в венах вскипела огнём, горло сдавил непонятный удушающий спазм, мешавший ему дышать, он смотрел прямо перед собой огромными, горящими, остекленевшими глазами. Что, что это было за ослепляющее нечто в воздухе, что сверкало, и кружилось, и сияло, словно горящие диски золотого пламени? Губы его разомкнулись, он неуверенно протянул руки, как слепой, нащупывающий свой путь.

– О боже, боже! – бормотал он, словно поражённый неким внезапным чудом, а потом с придушенным, захлёбывающимся криком он тяжело повалился вперёд – на пол, без чувств!

В тот же самый миг окно распахнулось с громким треском – оно раскачивалось из стороны в сторону на петлях, и потоки дождя косо хлынули сквозь него в комнату. Удивительная перемена произошла во внешности и в поведении Гелиобаза: он стоял, словно приросший к своему месту, он дрожал с головы до ног, он растерял всё своё обычное хладнокровие, он был смертельно бледен и с трудом дышал. Затем, немного придя в себя, он попытался закрыть болтавшиеся створки, но ветер был столь неистов, что ему пришлось немного помедлить, чтобы собраться с силами, и инстинктивно он выглянул наружу – в бурную ночь. Тучи носились по небу, словно огромные чёрные корабли по пенным волнам моря, молния непрестанно сверкала, и гром отражался от гор чудовищными залпами, будто из осаждающих орудий. Жалящие капли ледяного мокрого снега летели ему в лицо и на грудь белого одеяния, пока он несколько мгновений вдыхал бушующую свежесть сильного, взметнувшегося вверх порыва, а затем с видом человека, собравшего все свои разрозненные силы воедино, он уверенно захлопнул окно и запер его. Повернувшись теперь к бесчувственному Олвину, он поднял его с пола и перенёс на низкую кушетку рядом и там осторожно уложил. Сделав это, он стоял, глядя на него с выражением глубочайшего беспокойства, но не пытался избавить от смертельного обморока. Его собственная обычная

невозмутимость разлетелась на куски, он имел вид человека, испытавшего неожиданное и непомерное потрясение, даже его губы побледнели и нервно подрагивали.

Он выждал несколько минут, внимательно наблюдая за лежащей фигурой перед собою, пока постепенно, очень медленно, эта фигура не обрела бледную, суровую красоту тела, которое только что безболезненно покинула жизнь. Конечности стали жёсткими и неподвижными, черты лица сгладились этим таинственным, мудрым, бледным спокойствием, которое так часто заметно на лицах мертвецов; прикрытые веки казались пурпурно-багровыми, будто в синяках. Ни вздохом, ни движением не подавал он намёка на воскрешение; и когда спустя немного времени Гелиобаз склонился и прислушался, то в сердце не было пульсации – оно перестало биться! По всем признакам Олвин был мёртв – любой врач подтвердил бы этот факт, хотя причина его смерти и была неясна. И в таком состоянии – застывшем, бездыханном, бледном, как мрамор, заледеневшем и неподвижном, как камень, – Гелиобаз его и оставил. Не с безразличием, а точно зная – зная, невзирая на обычную медицину, – что бесчувственный кусок глины в положенное время воскреснет к жизни; что шкатулка лишь временно освобождена от её драгоценности; и что сама драгоценность, душа поэта, сумела посредством вмешательства нечеловеческой воли разорвать свои узы и куда-то сбежать. Но куда?.. В какие обширные миры прозрачного света или мрачных теней?.. На этот вопрос монах-мистик, поистине одарённый могущественным духовным даром повелевать «вещами невидимыми и вечными», не мог отыскать удовлетворительного ответа; и в этом тревожном недоумении он отправился в часовню, и там, в свете красных лучей багровой звезды, что тускло сияла над алтарём, он преклонил колени в одиночестве и молился в тишине, пока штормовая ночь не миновала и буря не погибла от меча собственной ярости на тёмных склонах Дарьяльского ущелья.

Глава 4. «Ангелус Домини»

Следующее утро медленно рассветало над морем серого тумана: ни единого просвета ландшафта не было видно – ничего, кроме серой пустоты витающего тумана, что медленно полз – складка за складкой, волна за волной, словно вознамерившись обесцветить весь мир. Очень слабый холодный свет проникал сквозь узкое, арковидное окно комнаты, где Олвин лежал, всё ещё окутанный глубоким сном, столь похожим на тот последний вечный сон, от которого, как говорят нам некоторые из современных учёных, не может быть пробуждения. Состояние его не изменилось; тусклые лучи раннего восхода, падая на его лицо, усиливали восковую бледность и неподвижность; ужасное таинство смерти довлело над ним – убогая беспомощность и бренность тела без духа. В момент, когда монастырский колокол начал звонить к заутрене и его ясный звон разорвал глубокую тишину, дверь открылась, и Гелиобаз в сопровождении другого монаха, чьё добродушное лицо и красивые, мягкие глаза выдавали внутреннее умиротворение, вошли в комнату. Вместе они приблизились к кушетке и долго и серьёзно смотрели на спавшего сверхъестественным сном мужчину.

– Он всё ещё далеко! – сказал, наконец, Гелиобаз со вздохом. – Так далеко, что это внушает опасения. Увы, Илларион! Насколько же малы наши знания! Даже со всей духовной поддержкой религиозной жизни как мало мы можем! Мы познаём одно – и тут же появляется другое, мы побеждаем одну сложность – и другая немедленно выскакивает, чтобы встать у нас на пути. Если бы я только имел необходимое врождённое восприятие, чтобы предвидеть вероятность вылета этого освободившегося бессмертного создания, то разве не смог бы я спасти его от какого-нибудь непредсказуемого несчастья или страдания?

– Думаю, что нет, – отвечал довольно задумчивым тоном монах по имени Илларион, – думаю, что нет. Такая защита никогда не будет доступна простому человеческому разуму, если этой душе суждено спастись или укрыться в своём невидимом странствовании, то, так или иначе, это случится каким-нибудь образом, которого все чудеса нашей науки не смогут предсказать. Вы говорите, он был неверующим?

– Именно.

– Каково же было его кредо?

– Страсть познать то, что он называл Истиной, – ответил Гелиобаз.

– Он, как и многие другие, не брал на себя труд задуматься чуть глубже над скрытым смыслом знаменитого вопроса Пилата: «Что есть истина?». Нам-то известно, что это, как обычно бывает, – несколько так называемых фактов, которые через тысячелетие будут полностью опровергнуты, перемешаны с несколькими конечными мнениями, предложенными колеблющимися мыслителями. Короче говоря, истина, согласно мирскому пониманию, – это просто то, что миру покамест приятно считать таковой. «Весьма небрежно ставку делать на бессмертную судьбу!».

Илларион приподнял холодную, безжизненную руку Олвина, она была негибкая и белая как мрамор.

– Я полагаю, – сказал он, – в его будущем возвращении к нам сомнений нет?

– Абсолютно нет, – решительно отвечал Гелиобаз. – Его жизнь на земле продлится ещё многие годы, поскольку покаяние его ещё не завершено, воздаяния он ещё не заслужил. Насчёт этого мои знания о его судьбе точны.

– Значит, вы вернёте его сегодня? – продолжал Илларион.

– Верну? Я? Я не могу! – сказал Гелиобаз с оттенком печальной покорности в голосе. – И по этой самой причине я и боялся отправлять его отсюда, и не сделал бы этого, – только не без подготовки, во всяком случае, – если бы мог действовать по-своему. Его отшествие было более удивительным, чем все прочие, известные мне, к тому же оно стало его собственным деянием, а не моим. Я категорически отказался применять к нему свою силу, потому что я чувствовал, что он находился не в моей власти и что поэтому ни я, ни любой из высших мудрецов, с которыми я состою в контакте, не смогли бы управлять или направлять его путешествие. Он, однако, был настолько же категорично уверен в том, что я *должен* был её применить, и для этого он вдруг сконцентрировал весь сдерживаемый пыл его характера в одном стремительном усилии воли и пошёл на меня. Я предупреждал его, но напрасно! Быстро, как молния отвечает молнии, две невидимых бессмертных силы внутри нас восстали в немедленном противостоянии с той только разницей, что, пока он не имел понятия о своей силе и не осознавал её, я всецело понимал и осознавал свою. Моя была сфокусирована на нём, его была неумелой и рассеянной – в результате моя сила одержала победу; и всё-таки, поймите меня правильно, Илларион, если бы я мог сдержать его, я бы так и сделал. Но это он – он извлёк из меня мою же силу, словно меч из ножён, а меч обычно сидит в ножнах прочно, однако сильная рука каким-то образом выхватит его и использует для сражения, когда будет

необходимо.

– В таком случае, – с удивлением проговорил Илларион, – вы признаёте, что этот мужчина обладает силой, превышающей вашу собственную?

– Ах, если бы он только знал об этом! – спокойно ответил Гелиобаз. – Но он не знает. Лишь ангел может научить его, а в ангелов он не верит.

– Он может поверить теперь!

– Может. Поверит – должен поверить, если только он ушёл туда, куда бы я его направил.

– Поэт, не так ли! – спросил Илларион мягко, склоняясь ниже, чтобы рассмотреть получше прекрасное, подобное Антиною лицо, бесцветное и холодное, как скульптурный гипс.

– Некоронованный монарх мира песни! – ответил Гелиобаз с нежной интонацией прекрасного голоса. – Гений, какого земля видит раз в столетие! Но он оказался сражённым болезнью неверия и лишённым надежды, а где нет надежды – нет и длительного творчества. – Он замолчал и мягким прикосновением, словно женщина, поправил подушки под отяжелевшей головой Олвина и возложил руку в серьёзном благословении на широкий, бледный лоб, покрытый тяжёлыми волнами тёмных волос. – Пусть бесконечная любовь избавит его от опасности и пошлёт мир и покой! – проговорил он торжественно, а затем, отвернувшись, взял своего товарища под руку, и они вдвоём вышли из комнаты, тихонько прикрыв за собою дверь. Храмовый колокол продолжал звонить медленно, неспешно, посылая приглушённое эхо сквозь туман ещё несколько минут, а затем умолк, и воцарилась глубокая тишина.

Монастырь всегда был очень тихой обителью, стоя на такой высокой и бесплодной скале, он намного превышал пределы досягаемости даже самых маленьких певчих птиц, порой лишь какой-нибудь орёл рассекал туман шумом крыльев и резким криком на пути к какому-нибудь далёкому горному гнезду, но никаких иных звуков пробуждавшейся жизни не нарушало тишины медленно расползавшегося рассвета. Прошёл час, а Олвин всё лежал в том же положении: такой же бледный и неподвижный, как труп, готовый к погребению. Вскоре некая перемена начала таинственным образом тревожить воздух вокруг, будто янтарное вино заливало хрусталь: тяжёлые испарения задрожали, как будто вдруг рассечённые хлыстом пламени; они поднимались, раскачивались из стороны в сторону и разрывались на куски. Затем, растворившись до тонкой молочно-белой пелены ворсистой дымки, они уплыли прочь, открыв взору гигантские вершины окружающих гор, что вздымались к свету одна над

другою, подобно формам замороженных валов. Над ними нежный розовый румянец сплетал трепетные волнистые линии, длинные стрелы золота начинали пронзать нежное мерцание голубого неба, мягкие клубы облаков с оттенками малинового и бледно-зелёного рассеивались вдоль восточного горизонта, подобно цветам на пути шагающего героя; и тогда вдруг настало хрупкое затишье в небесах, как будто вся вселенная внимательно выжидала какого-то грандиозного, но ещё не явленного великолепия. И оно раскрылось багровым блеском триумфа солнечного рассвета, проливая душ сияющего света на белую пустоту вершин, покрытых вечными снегами; зазубренные пики, острые как ятаганы и сверкающие льдами, поймали огонь и словно растаяли в поглощающем море сияния; ожидавшие облака продолжили движение, окрасившись ещё более глубокими оттенками королевского пурпура, и утро явилось во всей своей славе. Когда ослепительный свет устремился сквозь окно и залил кушетку, где лежал Олвин, слабый окрас возвратился его лицу, губы шевельнулись, широкая грудь с трудом наполнилась воздухом, веки дрогнули, и его прежде негнущиеся руки расслабились и сами собой сложились в положение молитвы и умиротворённости. Будто статуя медленно оживала магическим образом, тёплые оттенки нормально бегущей крови проступали сквозь белизну его кожи; дыхание становилось всё более лёгким и ровным; черты лица постепенно обретали нормальный вид, и тогда, без единого рывка или вскрика, он очнулся! Но было ли это истинное пробуждение? Или скорее продолжение какого-то странного ощущения, испытанного во сне?

Он поднялся на ноги, отбросил волосы со лба с завороженным взглядом, выражавшим внимательное изумление; его глаза были влажны и блестели, весь его вид выражал вдохновение. Он пару раз измерил шагами комнату, но явно не сознавал, где находился; он выглядел погружённым в размышления, которые поглощали его целиком. Вскоре он уселся за стол и, рассеянно перебирая писчие приспособления, лежавшие там, он будто задумался над их назначением. Затем, разложив несколько листов бумаги перед собой, начал писать с необычайной скоростью и усердием: его перо бежало плавно, не прерываясь на помарки и исправления. Порой он замирал, но когда это случалось, то всегда сопровождалось возвышенным, внимательным, прислушивающимся выражением. Один раз он пробормотал вслух: «Ардаф! Нет, я не должен забыть! Мы встретимся на поле Ардаф!» – и снова возвратился к своему занятию. Страницу за страницей он покрывал убористыми письменами, выведенными характерным для него особенным

ровным, каллиграфическим почерком. Солнце взбиралось всё выше и выше в небеса, часы проходили, а он всё писал, явно не замечая течения времени. В полдень колокол, который молчал с раннего рассвета, начал быстро раскачиваться на колокольне башни; глубокий бас органа вздохнул в тишине громовой монотонностью, и подобные пчелиному жужжанию отдалённые голоса провозгласили слова: «Angelas Domine nuntiavit Mariae»[4].

При первых же звуках песнопения колдовство, сковавшее разум Олвина, рассеялось; быстро подведя черту подо всем, что написал, он подскочил и выронил перо.

– Гелиобаз! – закричал он громко. – Гелиобаз! *Где находится поле Ардаф?*

Его собственный голос показался ему странным и незнакомым, он подождал, прислушиваясь, и молитва продолжилась: «И Слово стало плотью, и обитало с нами».

Внезапно, как если бы больше не мог выносить одиночества, он рванулся к двери и распахнул её, чуть не налетев на Гелиобаза, который как раз собирался войти в комнату. Он отступил, дико уставился на него и, смущённо проведя рукою по лицу, выдавил смешок.

– Я спал! – сказал он, затем с пылким жестом добавил: – Боже! Если бы только этот сон был явью!

Он был сильно взволнован, и Гелиобаз, дружески обхватив его рукой, увёл обратно, к креслу, которое освободил, внимательно наблюдая за ним.

– Вы называете это сном? – спросил он с лёгкой улыбкой, указывая на стол, усеянный записями с ещё не высохшими чернилами. – Тогда сны – более продуктивны, чем активные нагрузки! Вот прекрасный совет для писателей! Отличный результат для одного утра работы!

Олвин подскочил, схватив исписанные листки, и страстно вперился в них взглядом.

– Этой мой почерк! – бормотал он ошеломлённо.

– Конечно! А чей же ещё? – ответил Гелиобаз, наблюдая за ним с научным и одновременно добродушным интересом.

– Тогда это правда! – вскричал он. – Правда, во имя прелести её глаз; правда, во имя её просветлённой любовью улыбки! Правда, о ты, Господь, в котором я смел сомневаться! Правда, во имя всех чудес Твоей непревзойдённой мудрости!

И с этими странными выкриками он с лихорадочной поспешностью начал читать то, что сам же написал. Его дыхание быстро вырывалось, его щёки пылали, его глаза расширились; строку за строкой он внимательно перечитывал с явным удивлением и восторгом, когда, вдруг прервавшись, он поднял

голову и продекламировал полушёпотом:

– Великой песни нотой громкой
Я грех свой изгоняю прочь!
Взобраться выше по ступеням звука
Должны мне ангелы молитвою помочь!

– Я где-то слышал этот куплет ещё в детстве, но почему я вспоминаю его сейчас? Она ждала, как она сказала, все эти многие тысячи дней!

Он остановился в задумчивости, а затем продолжил читать, Гелиобаз коснулся его плеча.

– Вам потребуется некоторое время, чтобы прочитать всё это, м-р Олвин, – мягко заметил он. – Вы написали больше, чем знаете.

Олвин поднялся и посмотрел прямо на собеседника. Опустив свою рукопись и положив на него руку, он смотрел с торжественным, вопросительным видом в благородное лицо, решительно стоявшее перед ним.

– Скажите мне, – задумчиво проговорил он, – как это произошло? Это сочинение – моё и одновременно не моё. Поскольку это огромная и совершенная поэма, автором которой я не дерзаю назваться! Я мог бы с таким же успехом сорвать корону из *её* звёздных цветов и назваться ангелом!

Он говорил одновременно пылко и смиренно. Любому стороннему наблюдателю показалось бы, что он находился во власти какой-то странной галлюцинации, но Гелиобаз понимал его гораздо лучше.

– Идёмте! Идёмте! Ваши мысли сейчас за пределами этого мира, – миролюбиво сказал он. – Постарайтесь призвать их обратно! Я ничего не могу вам сказать, поскольку я ничего не знаю! Вы отсутствовали много часов.

– Отсутствовал? Да! – и голос Олвина задрожал бесконечным сожалением. – Отсутствовал на земле! Ах, если бы только я мог остаться с нею, в Раю! Моя любовь, моя любовь! Где же ещё мне искать её, как не на поле Ардаф?

Глава 5. Мистическое свидание

На последних словах взгляд его омрачило мягкое выражение задумчивой нежности, и многие минуты он пребывал в молчании, в течение которых восторженная, почти неземная красота его лица претерпела постепенное изменение: мистический свет, который временно преобразил его, поблёк и угас, и постепенно он вернул своё обычное самообладание. Затем, глядя на Гелиобаза, стоявшего, терпеливо ожидая, пока он преодолеет эмоции, занимавшие его разум, он улыбнулся.

– Вы, должно быть, считаете меня сумасшедшим! – сказал он. – Быть может, так и есть, но если так, то меня накрыло безумие любви. Любви! Это страсть, которой я прежде не испытывал. Я пользовался ею, как простой нитью, на кою нанизывал мадригалы; как задний фон неопределённого оттенка, служивший для того, чтобы оттенить более яркие очертания поэзии, – но теперь я порабощён и связан, побеждён и полностью покорён любовью! Любовью к самому нежному, царственному, блистательному созданию, что когда-либо захватывало власть над мужчиной! Может, я и кажусь сумасшедшим, но мне известно, что я здоров: я осознаю настоящий мир вокруг меня, мой разум ясен, мои мысли собраны, и всё же я повторяю, я влюблён! Ах, со всей силой и жаром этого моего сильно бьющегося сердца! – И он коснулся груди. – И дело идёт к тому, мудрейший и почтеннейший Гелиобаз, что если ваши заклинания вызвали это видение бессмертной молодости, красоты и чистоты, что так внезапно обрела столько власти над моей жизнью, тогда вы должны сделать нечто ещё. Вы должны отыскать или научить меня, как отыскать, живую реальность моего сна!

Гелиобаз поглядел на него с некоторым удивлением и сочувствием.

– Минуту назад вы сами провозгласили свой сон реальным! – заметил он. – Это, – и он указал на рукопись на столе, – казалось вам достаточным доказательством. Теперь вы переменили своё мнение, почему? Я не наводил на вас никаких чар, и я абсолютно ничего не знаю о вашем недавнем опыте. Кроме того, что вы называете «живой реальностью»? Плоть и кровь, кость и материю, что погибают через краткие семьдесят лет или около того и рассыпаются в неразличимую пыль? Конечно, если, как я заключаю из ваших слов, вы видели одну из прекрасных обитательниц высших сфер, то вы бы не стали тащить её духовную и не ведающую смерти прелесть вниз, на уровень реальности простой человеческой жизни? Нет, если бы и стали, то

вам бы это не удалось!

Олвин вопросительно поглядел на него с озадаченным видом.

– Вы говорите загадками, – сказал он немного раздражённо. – Однако всё это дело – тайна, и оно озадачило бы самый проницательный ум. Что физические процессы работы мозга в состоянии транса, должно быть, всколыхнули во мне страсть любви к воображаемому созданию и в то же время позволили написать поэму, которая обеспечила бы славу любому человеку, – это определённо выдающийся и заслуживающий внимания результат научного гипноза!

– Мой дорогой сер, – прервал его Гелиобаз тоном добродушного увещевания, – не надо, если только у вас есть хоть капля уважения к науке вообще, – не надо, я вас умоляю, говорить мне о «физических процессах» *мёртвого мозга*!

– Мёртвого мозга! – эхом откликнулся Олвин. – Что вы имеете в виду?

– Что и говорю, – спокойно отвечал Гелиобаз. – «Физические процессы» любого рода не возможны, если движущая сила физической жизни не действует. Внутри вас же, простого человека, она почти на семь часов практически прекратила действовать; жизненного начала более не существовало в вашем теле, оно отправилось в путь вместе с его неразлучным товарищем – душой. Когда оно вернулось, то вновь привело в действие часовой механизм вашего физического тела, подчиняясь владычеству Духа, который стремился выразить материальными средствами приказ боговдохновенной мысли. Таким образом ваша рука механически нашла путь к перу, таким образом вы писали, не сознавая что именно, отдавшись всецело во власть духовной составляющей вашей природы, которая в тот конкретный момент была абсолютно доминирующей, хотя теперь, вновь обременённая земными факторами, она отчасти ослабила своё божественное влияние. Всё это я с готовностью осознаю и понимаю, но вот что вы делали и куда вас водили во время вашего полного разделения с глиняной обителью, в которой вы снова заключены, – это мне ещё предстоит узнать.

Пока Гелиобаз говорил, лицо Олвина приобрело выражение смутной тревоги, и теперь в его глубоких поэтических глазах появился огонёк внезапного раскаяния.

– Правда! – проговорил он мягко, почти кротко. – Я расскажу вам всё, пока помню, хотя вряд ли когда-нибудь позабуду! Я верю, что должна быть доля истины, в конце концов, во всём, что вы говорите о душе, в любом случае, я в настоящее время не расположен подвергать сомнению ваши теории. Для начала скажу, что нахожу невозможным объяснить происшедшее со мною

прошлой ночью, во время нашего с вами разговора. То было очень странное чувство! Вспоминаю, что я выразил желание подвергнуться магнетическому и электрическому воздействию вашей силы и что вы отказали мне в этой просьбе. Тогда странная идея сама собою возникла у меня в голове, а именно, что я мог бы, если бы захотел, заставить вас; и я обратился к вам, или собирался обратиться, в весьма безапелляционной манере, когда вдруг вспышка ослепительного света яростно ударила мне в глаза, будто бич! Оглушённый резкой болью и сбитый с толку вспышкой, я отвернулся от вас и сбежал, как мне показалось, на этом бессознательном импульсе во *тьму*!

Он помолчал и испустил глубокий, дрожащий вздох, словно чудом избежавший неминуемой гибели.

– Тьма! – продолжил он тихим голосом, дрожавшим от воспоминаний о минувшем подвиге. – Плотная, ужасная, пугающая тьма! Тьма, которая тяжело пульсировала мучительным движением невидимого! Тьма, которая сомкнулась и захлопнулась вокруг меня массами липкой, осязаемой густоты; её усиливающийся и непреодолимый вес накатывал на меня огромными океанскими волнами, и, поглощённый ею, я опускался всё ниже и ниже, к некой скрытой, неощутимой, но всепобеждающей агонии, чью тупую непрестанную пульсацию я чувствовал, но не мог назвать по имени. «О Боже! – вскричал я вслух, отдаваясь во власть дикого отчаяния. – О Боже! Где же Ты?» – затем я услышал великий шум сильного ветра, производимого крыльями, и голос, величественный и нежный, будто золотая труба вдруг загудела в ночной тишине, ответивший: «Здесь! И везде!». И тут косой поток молочного сияния рассёк мрак одним взмахом лезвия меча, и меня стремительно подхватили, не знаю как, поскольку ничего не видел!

И снова он печально поглядел на Гелиобаза, кто в свою очередь смотрел на него с мягким спокойствием.

– Она была удивительна и ужасна! – продолжил он медленно. – И прекрасна! Та невидимая мощь, что спасла, окружила и вытащила меня; и… – тут он замешкался и яркий румянец окрасил его щёки и лицо до корней волос, – сон или не сон, но я чувствую, что не могу теперь полностью отрицать идею существования божества. Короче, я уверовал в Бога!

– Почему же? – спокойно спросил Гелиобаз.

Олвин открыто встретил его взгляд мягким, просветлённым выражением его прекрасного лица.

– Не могу назвать вам ни одной разумной причины, – сказал он. – К тому же, разумные причины не убедили бы меня в этом

деле, где всё представляется противоречащим любой логике. Я верю… просто потому, что верю!

Гелиобаз улыбнулся очень тёплой и дружелюбной улыбкой, но ничего не сказал, и Олвин продолжил рассказывать.

– Как я и говорю, меня подхватили, выдернули из этой чёрной бездны с невероятной быстротой, и, когда движение вверх прекратилось, я уже парил легко, как листок на ветру, через вьющиеся арки янтарного тумана, освещённого тут и там лучами живого пламени. Я слышал шёпот и отрывки песни и речи, что была прекраснее любой нашей музыки, но я всё ещё ничего не видел. Вскоре некто назвал меня по имени: «Теос! Теос! – я попытался ответить, но у меня не было слов, подходивших тому серебристому отдалённому призыву; и снова глубокий, вибрирующий голос пронзил туманный, пламенный воздух: Теос, возлюбленный мой! Выше! Выше!». Всё моё существо затрепетало и задрожало от этого зова. Я жаждал подчиниться, я боролся за то, чтобы подняться, но усилия мои были напрасными; однако, к моей радости и удивлению, маленькая невидимая рука, изящная и сильная, сомкнулась на моей, и меня перенесли наверх с неощутимой, неописуемой, молниеносной скоростью – вперёд, вперёд и всё вверх, пока наконец, оказавшись на прекрасной земле, густо поросшей ароматными цветами удивительной красоты и оттенков, я не увидел её! И она пригласила меня в свою обитель.

– И кто, – спросил Гелиобаз спокойным, почтительным тоном, – кто же была эта женщина, что так очаровала вашу память?

– Я не знаю! – ответил Олвин с мечтательной, восторженной улыбкой на губах и в глазах. – Но её лицо – о, чарующая красота её лица! – вместе с тем не было мне незнакомо. Я чувствовал, что, должно быть, любил и потерял её века и века назад! С венцом из белых цветов и в наряде, будто паутина из лунных лучей в летней ночи, она стояла и улыбалась сладостной девичьей улыбкой в раю прелестных пейзажей и звуков. Ах, Ева в свете первого сияния солнца не могла быть прекраснее этого божества! Венера, вышедшая из серебристых пенных волн, не могла быть столь же славной королевой! «Я помогу тебе вспомнить всё, о чём ты позабыл», – сказала она, и я понял её мягкий, наполовину укоризненный тон. «Ещё не слишком поздно! Ты многое потерял, и немало страдал, и слепо заблуждался, но, несмотря на всё это, ты – мой возлюбленный вот уже многие тысячи дней!».

– Дней, которые мир считает за годы! – пробормотал Гелиобаз. – Вы больше никогда не видели, кроме неё?

– Никого, мы были только вдвоём. Пустынный лес

простирался перед нами, она взяла меня за руку и провела под широкими, развесистыми деревьями к тому месту, где озеро, серебряное в свете какого-то чудного сияния, сверкало подобно бриллианту, покачиваясь от дуновения ароматного ветерка. Здесь она приказала мне отдохнуть и опустилась мягко на цветочный берег рядом со мной. Тогда, рассмотрев её лучше, я очень испугался её красоты, поскольку заметил чудесный нимб – широкий и слепящий золотой ореол, окружавший её искрящимися точками света, – света, который падал также и на меня и окутывал сверкающим великолепием. И, пока я глядел на неё в безмолвном удивлении, она придвигалась всё ближе и ближе; её бездонные, ясные глаза горели мягким взглядом, устремлённым на меня; её руки сплелись в объятии; её голова покоилась во всём её сиянии у меня на груди! Трепетный восторг взбудоражил меня, как огнём. Я смотрел на неё, как на порхающую, редкую экзотическую птичку. Я не смел двинуться или дышать. Я упивался её нежностью в своей душе! Время от времени звук, похожий на игравшую вдалеке арфу, нарушал любовную тишину, и так мы оставались вместе в райском саду безмолвного восторга; когда вдруг, словно получив невидимый призыв, она быстро поднялась, взгляд её выражал святое долготерпение, и, возложив обе руки на мою голову, она сказала: «Напиши! Напиши и провозгласи послание надежды печальной звезде! Напиши, и пусть твои слова станут истинным эхом вечной музыки, которой исполнены здешние сферы! Напиши ради ритмичной пульсации гармонии внутри тебя! Во имя чуда! И снова, как в прежние дни, моя неизменная любовь возродит внутри тебя силу совершенной песни!». На этом она невозмутимо отвернулась и поманила меня за собой. Я подчинился, поспешно и дрожа. Длинные лучи розоватого света простирались за нею, словно скользящие крылья, и, когда она шла, золотой нимб вокруг её фигуры горел тысячью бриллиантов изменчивых оттенков, будто радуга в брызгах падающих вод! Сквозь буйную зелёную траву, насыщенную цветами; через рощи с тяжёлыми ароматными листьями и поющими птицами; по прохладным лугам под защитой гор, – мы шли вперёд; она – как богиня приближающейся весны, и я – нетерпеливо ступающий по её лучезарным пятам. И вскоре мы пришли на место пересечения двух дорог: одна – вся заросшая лазурными и белыми цветами, поднималась вверх, в незримую далёкую даль; другая спускалась глубоко вниз и была вся тенистая, но тускло освещалась бледным, мистическим сиянием, будто морозный лунный свет, струящийся над унылого цвета морем. Здесь она повернулась и встретилась со мною лицом к лицу, и я увидел её божественные

глаза, исполнившиеся влагой невыплаканных слёз. «Теос! Теос!» – воскликнула она, и страстная интонация её голоса прозвучала столь же певуче, сколь и у соловья в одиноком лесу. «Опять, опять нам предстоит разлука! О мой возлюбленный! Как долго ещё твоя душа будет оторвана от моей, и я буду покинута в одинокой печали среди райских радостей?». Когда она говорила эти слова, чувство крайнего стыда, и утраты, и горя нахлынуло на меня, проникало в каждую клеточку моего существа посредством необъяснимого, но самого горького сожаления; я бросился к её ногам в глубоком унижении, я хватал её сверкающие одежды. Я пытался проговорить «прости!», но я был нем, как осуждённый предатель в присутствии обманутой королевы! Внезапно воздух вокруг нас задрожал от оглушительного грома, смешанного с торжественной музыкой; она поспешно выдернула своё блестящее платье из моих рук и, приблизившись ко мне, поцеловала в лоб. «Твой путь ведёт туда! – прошептала она быстро и мягко, указывая на дорогу, отмеченную перемежающимся светом и тенью. – Мой – вон туда! – и она поглядела на покрытую цветами улицу. – Поспеши! Пора тебе отправиться в дальний путь! Возвращайся на свою звезду, иначе вход закроется для тебя навсегда и ты окунёшься в вечный мрак! Отыщи поле Ардаф! Как жив Христос, я увижусь с тобой там! Прощай!». С этими словами она меня покинула, удалившись прочь, окутанная славой, ступая по цветам и всё восходя вверх, пока совсем не исчезла! В это время я, находясь в жестоком раскаянии, медленно побрёл вниз, в тень, и журчащая, подобная бризу мелодия, будто нежно исполняемая на лютнях и гуслях, следовала за мною вниз. А теперь, – сказал Олвин, прерывая свой рассказ и говоря решительным тоном, – мне, несомненно, остаётся сделать лишь одно: отыскать «поле Ардаф».

Гелиобаз серьёзно улыбнулся.

– Нет, если вы считаете всё происшедшее сном, – заметил он, – то к чему утруждать себя? Сны редко сбываются, а что по поводу названия «Ардаф»? Вы когда-нибудь слышали о нём?

– Никогда! – ответил Олвин. – И всё равно, если такое место существует на этой планете, то я определённо туда отправлюсь! Быть может, вам что-либо известно о его местонахождении?

– Закончите вашу историю, – сказал Гелиобаз, осторожно избегая ответа на вопрос. – Мне любопытно услышать окончание вашего удивительного приключения.

– Рассказать осталось немного, – и Олвин слегка вздохнул. – Я брёл всё дальше и дальше сквозь сумрак, одолеваемый множеством мыслей и терзаемый смутными страхами, пока наконец не стало так темно, что я едва мог видеть, куда шёл, хоть

и продолжал следовать путём, простиравшимся предо мною в виде бледно светящихся лучей, которые многократно пронзали углублявшуюся темноту, и эти лучи, как я заметил тогда, всегда складывались в форму креста. На моём пути меня преследовал звук того нежного мотива, исполняемого на невидимых тонких струнах, и спустя немного времени я заметил в конце длинной, туманной дороги распахнутую дверь, через которую я и вошёл и оказался в одиночестве тихой комнаты. Там я присел отдохнуть; мелодия отдалённых арф и лютни мягким эхом отдавалась в тишине, и тогда пришли слова, перекрывая музыку, словно бутоны разрывают окружающие их листья, – слова, которые я обязан был записать без промедления; и я писал и писал, подчиняясь той симфоничной и ритмичной диктовке с чувством возрастающего облегчения и довольства, когда вдруг меня окутала плотная тьма, которая последовала за неспешным рассветом серого и золотого цветов, слова распались на отрывочные фрагменты полуслогов, музыка замерла, и я вздрогнул от удивления, обнаружив, что нахожусь здесь! Здесь, в этом монастыре Ларса, слушая гимн «Ангелус»!

Он замолчал и задумчиво поглядел за окно, на белый опоясывающий венец снежной вершины горы напротив, который теперь купался во всём блеске полудня. Гелиобаз подошёл и добродушно положил руку ему на плечо.

– И не забывайте, – сказал он, – что вы принесли с собой из далёких краёв Поэму, которая вероятнее всего вас прославит! «Слава! Слава! Второе величайшее слово после „Бога“!» – так писал один из ваших коллег, и, несомненно, вы вторите его настроению! Не жаждали ли вы начертать своё имя в открытом свитке мира? Что ж! Теперь ваше желание исполнится – мир в ожидании вашей подписи!

– Всё это замечательно! – и Олвин улыбнулся, с некоторым сомнением глядя на рукопись на столе перед собой. – Но вопрос в том, – беря во внимание, как она была написана, – могу ли я, смею ли я назвать эту поэму своей?

– Несомненно можете! – отвечал Гелиобаз. – Хоть ваши колебания и весьма похвальны и встречаются столь же редко, сколь и похвальны. Всем поэтам и художникам полезно было бы на этом остановиться и призадуматься, прежде чем рваться объявить их произведения личной собственностью! Самохвальство – смертельный удар для гения. Поэма настолько же принадлежит вам, насколько и ваша жизнь – не больше и не меньше. Короче, вы возвратили своё былое вдохновение, ещё недавно молчаливый оракул снова говорит – а вы не рады?

– Нет! – быстро сказал Олвин с неожиданным блеском глаз, когда он встретил проницательный, пытливый взгляд, сопровождавший этот вопрос. – Нет! Ибо я влюблён! И страсть любви горит во мне так же ярко, как и жажда славы! – Он замолчал и более тихим голосом продолжил: – Видите, я говорю с вами честно и откровенно, как будто, – и он усмехнулся, – как будто я добрый католик, а вы мой святой отец-исповедник! Бог мой! Если бы кто-то знававший меня в Лондоне слышал эти слова, он счёл бы меня совершенно свихнувшимся! Но, чокнутый или нет, я чувствую, что никогда не буду довольным, пока не узнаю, где на земле находится поле Ардаф. Вы можете помочь мне в поисках? Я почти стыжусь просить вас, поскольку вы для меня уже столько сделали и я уже ваш должник за то чудесное освобождение моей души, или как бы это ни называлось…

– Вы мне ничего не должны, – спокойно заметил Гелиобаз, – даже благодарности. Ваша собственная воля обеспечила вам высвобождение, а я не отвечаю ни за ваше отшествие, ни за возвращение. Это явление было предопределено, но всё же оно совершенно нормально и легко объяснимо. Ваша внутренняя сила обратилась вместе с моей в один мощный поток, в итоге ваша душа немедленно отделилась от тела, и в этом свободном состоянии вы испытали то, о чём мне и поведали. Но я не имею никакого отношения к этому приключению, как не стану иметь ничего общего и с вашим путешествием к «полю Ардаф», если вы решитесь туда отправиться.

– Так значит, есть Ардаф! – восторженно вскричал Олвин.

Гелиобаз поглядел на него немного насмешливо.

– Естественно! Неужели вы до сих пор столь скептично настроены, что полагаете, будто ангел заставила бы вас искать не существующее место? О да! Я вижу, вы склонны считать ваше воздушное приключение простым сном, но я-то знаю, что оно было реальным, более реальным, чем что-либо ещё в этом мире. – И, повернувшись к набитым полкам, он вытащил огромный том и разложил его на столе.

– Вам известна эта книга? – спросил он.

Олвин посмотрел:

– Библия! Ну конечно! – ответил он безразлично. – Она всем известна!

– Простите! – и Гелиобаз улыбнулся. – Вернее сказать, она никому не известна. Читать – не всегда значит понимать. В ней есть изречения и тайны, в которые ещё никто не проникал и которые лишь высочайшие и самые духовно одарённые умы дерзают когда-либо разгадать. А теперь, – и он осторожно переворачивал страницы, пока не дошёл до места, которое

искал, – я думаю, здесь есть нечто интересное для вас – слушайте! – и он прочёл вслух: – «И пришёл ко мне Ангел Уриил, и сказал: А ты… выйдешь на цветущее поле, где нет построенного дома, и станешь питаться только от полевых цветов и не вкушать мяса, ни пить вина, а только цветы, молись ко Всевышнему непрестанно, и Я приду и буду говорить с тобою. И пошёл я, как Он сказал мне, на поле, которое называется Ардаф…».

– То самое место! – вскричал Олвин, жадно склонившись над священной книгой, затем, отстранившись с разочарованным видом, он добавил: – Но вы читаете книгу Ездры – апокриф! Крайне сомнительный источник информации!

– Напротив, столь же надёжный, как и любой исторический факт, – спокойно возразил Гелиобаз. – Прочитайте внимательно и вы увидите, что пророк был жителем Вавилона, а упомянутое поле находилось рядом с городом.

– Да, в прошлом! – прервал его Олвин недоверчивым тоном.

– В прошлом и в настоящем, – продолжил Гелиобаз. – Ни землетрясение не разрушило его, ни море не затопило, и ни единый дом на нём не был построен. Оно такое же, как было тогда: огромное поле, лежащее милях в четырёх от руин Вавилона, и ничто не мешает вам отправиться туда, когда захотите.

Лицо Олвина, когда он слушал, выражало удивление и недоумение. Одна часть его так называемого сна уже подтвердилась: «поле Ардаф» реально существовало!

– Вы уверены во всём этом? – спросил он.

– Совершенно уверен!

Наступило молчание, во время которого маленький колокольчик зазвонил во внешнем коридоре, за чем последовали шаги обутых в сандалии ног по каменному полу. Гелиобаз захлопнул Библию и поставил обратно на полку.

– Это был призыв к обеду, – весело объявил он. – Вы составите мне компанию в трапезной, м-р Олвин? Мы можем продолжить нашу беседу позже. – Олвин очнулся от своих размышлений и, собрав листки его столь странным образом написанной поэмы, молча сложил их в аккуратную стопку. Затем он поднял глаза, выражавшие внутреннюю решимость, и встретил вопросительный взгляд Гелиобаза.

– Я отправляюсь в Вавилон завтра, – тихо сказал он. – Лучше ехать туда, чем никуда не ехать! И от результата этой поездки будет зависеть моё будущее! – Он поколебался, затем вдруг протянул руку в искреннем благодарственном жесте. – Несмотря на мою грубость прошлой ночью, я надеюсь, мы с вами друзья?

– Отчего нет, конечно же друзья! – отвечал Гелиобаз,

сердечно пожимая предложенную ладонь. – Вы сомневались во мне и всё ещё сомневаетесь, но что с того! Я не обижаюсь на неверие. Мне слишком сильно жаль тех, кто страдает от разрушительного влияния, чтобы найти в своём сердце место для злобы. Кроме того, я никогда никого не переделываю. Намного более приятно, когда скептики неосознанно обращаются сами, подобно вам! Идёмте, нам пора присоединиться к братии.

По лицу Олвина промелькнула мгновенная тень сомнения и надменности.

– Я бы предпочёл, чтобы они вообще ничего не знали обо всём этом, – начал он.

– Не беспокойтесь на этот счёт, – прервал его Гелиобаз, – никто из моих здешних товарищей не знает о вашем недавнем путешествии, кроме моего близкого, очень давнего друга Иллариона, кто вместе со мной видел ваше тело в состоянии временной смерти. Но он – один из тех исключительно редких мудрецов, кто знает, когда лучше хранить молчание; опять-таки, он ничего не знает о результатах переселения вашей души, и так и останется, по моему убеждению, в этом неведении. Со мною ваша конфиденциальность в совершенной безопасности, уверяю вас, и столь же нерушима, как и тайна исповеди.

Уверившись в этом, Олвин будто оживился и повеселел, и на этом они вместе вышли из комнаты.

Глава 6. «Нурельма» и оригинальная книга Ездры

Позже, в полдень того же дня, когда солнце, балансируя над западным горным хребтом, как бы лениво поглядывало на него с золотистой сонливо-прощальной улыбкой, прежде чем отойти ко сну, Олвин снова сидел в одиночестве в библиотеке. Сумеречные тени уже собирались в углах длинной, узкой комнаты, но он передвинул письменный стол к окну, чтобы полюбоваться великолепием окружающего пейзажа, и сидел там, где свет падал прямо на его лицо, пока он откинулся на спинку кресла, закинув руки за голову с видом довольного, полузадумчивого безделья. Он только что от начала и до конца перечитал поэму, сложенную в трансе, и не обнаружил в ней ни одной строки, которую хотел бы изменить, ни единого слова, которое могло бы быть лучше употреблено; недоставало лишь названия, и как раз над ним он и раздумывал. Тема этой поэмы сама по себе была для него не нова: это была история, известная ему с детства, древняя восточная легенда о любви, фантастически прекрасная, как и большинство подобных легенд, исполненная изящества и страстей, – тема, достойная соловьиной трели певца, подобного персидскому Хафизу; хотя даже сам Хафиз с трудом передал бы исключительный язык и изысканность звучания рифм, на которые эта необычайная идиллия давно прошедших веков теперь была в совершенстве переложена, словно драгоценный камень – в золотую оправу. Олвин сам полностью осознавал великолепие литературной ценности композиции, он знал, что ничего более высокохудожественного по замыслу или более завершённого по структуре не появлялось со времён «Кануна Святой Агнессы» Китса; и когда он думал об этом, то поддавался растущему чувству самодовольства, которое постепенно разрушало всё глубокое набожное смирение, которое вначале им овладело по отношению к возвышенности и таинственности происхождения его вдохновения. Древняя наследственная гордость его характера вновь заявила о себе; он пересмотрел все обстоятельства своего «транса» с самой практической стороны, припомнив, как поэт Кольридж создал изящный отрывок «Кубла Хана» во сне, и перестал замечать что-либо удивительное в собственном неосознанном творении полной поэмы, пока находился под действием гипноза или магнетизма.

«В конце концов, – размышлял он, – это дело гораздо проще, чем можно себе вообразить. Я долгое время был не способен

написать ничего стоящего и сообщил об этом Гелиобазу. Он, зная апатичное состояние моего разума, соответственным образом применил свою силу, хоть и отрицает это, так что очевидно, что эта поэма стала результатом моих долгое время сдерживаемых идей, которые стремились вырваться, но не могли найти выражения в словах. Единственная загадка всего этого дела – это поле Ардаф, и как же это название меня преследует! И как её лицо сияет пред внутренним оком моей памяти! Чтобы она оказалась призраком моего собственного изобретения, представляется невероятным, ибо когда это я, даже в самых диких своих фантазиях, воображал кого-то, столь прекрасного!»

Его мечтательный взгляд остановился на снежных вершинах напротив, над которыми огромные пушистые облака, сами как движущиеся горы, неспешно проплывали, а их края горели пурпуром и золотом, когда приближались к заходящему солнцу. Вскоре он поднялся, взял перо и первым делом написал адрес на конверте:

«Благородному Фрэнсису Виллерсу, Конституциональный клуб, Лондон».

А затем быстро набросал следующий текст:

«Монастырь Ларса, Дарьяльское ущелье, Кавказ».

«Мой дорогой Виллерс, не пугайтесь вышеуказанного адреса! Я ещё не дал обета вечного затворничества, молчания или целибата! То, что именно я из всех людей мира оказался в монастыре, покажется вам, кому известны мои взгляды, в высшей степени абсурдным, тем не менее я здесь, хоть здесь и не останусь, поскольку уже точно решил завтра на рассвете выехать отсюда тем путём, что ведёт прямиком к предполагаемому месту нахождения развалин Вавилона. Да, Вавилона! А почему нет? Погибшее величие всегда представляло для меня больший интерес для наблюдения, чем существующее ничтожество, и я даже скажу, что побродил бы среди курганов мёртвого города с большим удовольствием, чем по жарким, запруженным людьми улицам Лондона, Парижа или Вены, обречённым обратиться в курганы в своё время. К тому же меня ждёт приключение: поиск нового ощущения, тогда как все старые я уже испробовал и нахожу их пустыми. Вам известен мой кочевой неусидчивый нрав, быть может, во мне есть что-то от греческих цыган – тяга к постоянным переменам мест и окружения, однако, раз моё отсутствие в Англии, вероятно, будет долгим, я высылаю вам поэму. Нет-нет, придержите пока своё восхищение и терпеливо выслушайте меня. Я прекрасно знаю, что бы вы сказали по поводу крайней глупости и бесполезности написания стихов вообще в нашем нынешнем

веке водянистой литературы, копеечных сенсаций и популярных распутных драм, и я также прекрасно помню, каким образом обошлась эта самая пресса с моей последней книгой. Батюшки! Как критики, словно собаки, визжали у моих пят, щёлкая зубами, принюхиваясь и скалясь! Тогда я готов был рыдать, будто чувствительный дурак, каковым я и был. Теперь я смеюсь! Короче, друг мой, – ибо вы и есть мой друг и лучший из всех ребят, – я принял решение возобладать над теми, кто восставал против меня, прорвать ряды педантичных и предвзятых суждений и штурмовать вершину славы, не оглядываясь на мелких популярных трубачей-перевёртышей, которые стоят у меня на пути и надрывают глотки, крича в уши публике, чтобы заглушить, если удастся, мою песнь. И я буду услышан! И в этом я возлагаю свою веру на работу, которую поручаю вашему попечительству. Опубликуйте её немедленно и в самом лучшем виде – и я покрою все издержки. Объявите о ней во всеуслышание, но с приличествующей скромностью, поскольку шумную рекламу я всей душой презираю; и даже если вся пресса повернётся и станет аплодировать мне так же, как прежде оскорбляла и высмеивала, то я не приму ни единой из их дешёвых строк снисходительно-невежественного одобрения, применительно к тому, что должно быть совершенно ненавязчивым и простым обнародованием этого нового произведения моего пера. Рукопись исключительно разборчивая даже для меня, мужчины, не пишущего каракулями, так что вам едва ли придётся утруждать себя корректировкой, хотя, даже в этом случае и если печатники окажутся неисправимыми тупицами и невежами, я знаю, что вы не пожалеете ни сил, ни времени на это дело. Дорогой Фрэнк Виллерс, сколько́им я уже вам обязан, но всё же охотно принимаю на себя ещё один долг в этом деле, и мне приятно быть должником вашей дружбы, но поверьте, что только на условиях возврата с хорошими процентами! Кстати, вы помните, как на последней парижской выставке нас очаровала одна картина – голова монаха с поистине просветлённым взглядом из-под складок опущенного белого капюшона? И в каталогах она числилась как портрет некоего «Гелиобаза», восточного мистика, в прошлом известного в Париже экстрасенса, ушедшего в монахи? Так вот, я отыскал его здесь; он определённо наставник или глава этого ордена, хотя, что это за орден и когда он появился, я сказать не могу. Здесь всего пятнадцать монахов живут, довольные этой древней полуразрушенной обителью посреди бесплодных круч морозного Кавказа; все они прекрасные, словно принцы, ребята, а сам Гелиобаз – исключительный образчик своей расы. Я только что

отобедал со всей общиной и был искренне поражён раскованностью и остроумием их беседы. Они говорят на всех языках, включая и английский, и ни одна тема им не чужда, ибо они осведомлены о последних политических событиях во всех странах; им всё известно о новейших научных открытиях (над которыми они, кстати, вежливо посмеиваются, словно это детские игрушки); и они обсуждают наши современные общественные проблемы и теории с сократовской проницательностью и хладнокровием, которым нашим парламентским ревунам не мешало бы поучиться. Их кредо…, однако я не стану утомлять вас теологическими дискуссиями, достаточно будет сказать, что в его основе лежит Христианство и что в настоящее время я не очень понимаю, как к нему относиться! На этом, мой дорогой Виллерс, я прощаюсь! Отвечать на это письмо нет надобности; кроме того, я не могу дать вам адреса, поскольку не знаю, где окажусь в ближайшие два-три месяца. Если мне не доставит ожидаемого удовольствия созерцание руин Вавилона, то я, вероятно, поживу в Багдаде недолго и попытаюсь углубиться во времена доброго Гарун-аль-Рашида. В любом случае, что бы ни случилось со мной, я знаю, что отдаю поэму в надёжные руки, и всё, о чём я прошу, это выпустить её в свет без промедления, ведь её *немедленная публикация* представляется мне самым важным делом моей жизни, за исключением… за исключением авантюры, на которую я теперь решился, но об этом позже, при встрече. А до тех пор вспоминайте меня добрым словом и верьте, что я

навеки самый преданный ваш друг,

Теос Олвин».

Закончив и запечатав это письмо, Олвин ещё раз взял рукопись и снова задумался над названием. Стоп! А почему бы ни назвать её именем совершенной героини, чья сердечная страсть и печаль составляют ядро легенды? Именем, которое он, по правде говоря, не выбирал осознанно, а которое часто являло созвучие с мелодичным тоном всей поэмы. «Нурельма»! Звучит мягко и будто дышит восточной истомой любовной песни, это, несомненно, самое лучшее название. Стремительно приняв решение, он разборчиво написал вверху первой страницы так: «Нурельма, Древняя легенда о любви». Затем, перейдя в конец, он подписал собственное имя со смелыми завитками, таким образом засвидетельствовав собственное неоспоримое право на авторство того, чему суждено было не только стать знаменитым шедевром поэзии современности, но также обозначить самую удивительную,

сложную и оскорбительную проблему, когда-либо рождавшуюся в уме. Внимательно пронумеровав страницы, он сложил их в аккуратный пакет, который плотно связал и запечатал, затем, адресовав своему другу, он положил письмо и пакет вместе и поглядел на них несколько задумчиво, чувствуя, что в них состоит его величайший шанс прославиться навеки. Бессмертная слава! Какой широкий путь огромных возможностей эти слова приоткрывали его воображению! Потонув в приятных размышлениях, он снова выглянул наружу. Солнце село позади гор, так что не осталось и следа от его огненного присутствия, кроме золотого ободка, из которого огромные сверкающие лучи протянулись вверх, как поднятые пики, пронзавшие пурпурно-розовые облака. Лёгкий щелчок открывшейся двери нарушил его задумчивость, он повернулся в кресле и наполовину поднялся, когда вошёл Гелиобаз, неся маленькую, богато украшенную серебряную шкатулку.

– Ах, друг Гелиобаз, наконец-то вы пришли! – сказал он с улыбкой. – Я уже начал думать, что вы никогда не явитесь. Моё письмо окончено, и, как видите, поэма отправляется в Англию, и я молюсь, чтобы она встретила там лучшую судьбу, чем до сих пор ожидала мои старания!

– Вы молитесь? – многозначительно спросил Гелиобаз. – Или вы просто надеетесь? Есть огромная разница.

– Не сомневаюсь, – отвечал он беспечно, – и, конечно, чтобы быть точным, мне следовало сказать «я надеюсь», ведь я никогда не молюсь. Что это у вас там? – указал он на предмет, который принёс Гелиобаз и поставил на стол перед ним. – Ковчег? И внутри, должно быть, лежит частица истинного креста? Увы! Я не верю в эти частички – их слишком много!

Гелиобаз мягко рассмеялся.

– Вы правы! Кроме того, ни единой щепки истинного креста нет на свете. Он был, как и прочие используемые в то время кресты, выброшен вон как хлам и сгнил в земле задолго до того, как императрица Елена пустилась в свои благочестиво-безумные странствования. Нет, у меня там нечто иное, – и, сняв ключ с тоненькой цепочки, что висела у него на поясе, он отпер шкатулку. – Этим владели различные члены нашего ордена на протяжении веков, это наше самое главное сокровище, и оно редко, можно даже сказать, никогда не показывается чужакам, но мистическое поручение, которое вы получили касательно «поля Ардаф», даёт вам полномочие увидеть то, что, как я думаю, должно оказаться интересным для вас в данных обстоятельствах. – И, открыв коробочку, он вытащил маленький квадратный том в толстом серебряном окладе и с двойным

замочком. – Это, – продолжал он, – оригинальный текст главы о «Видениях Ездры», датированный тринадцатым годом после краха экономического могущества Вавилона.

Олвин воскликнул с недоверчивым удивлением.

– Не может быть! Могу я взглянуть?

Гелиобаз молча положил её на протянутую ладонь Олвина. Как только он расцепил защёлки, слабый аромат, словно исходивший от давно увядших лепестков розы, вырвался наружу единым вздохом; он раскрыл книгу и увидел, что её страницы составляли двенадцать нетолстых пластин слоновой кости, которые полностью были покрыты любопытными маленькими письменами, аккуратно вырезанными явно острым и прекрасно заточенным инструментом. Буквы были совершенно не знакомы Олвину: он не встречал ничего подобного ни в одном из древних языков и теперь озадаченно их рассматривал.

– Что это за язык? – спросил он, наконец оторвав взгляд. – Это не иврит, и не санскрит, и даже не похоже ни на одну известную форму написания иероглифов. Вы это понимаете?

– Прекрасно! – ответил Гелиобаз. – Если б не понимал, то значительная часть древней мудрости и наук оказалась бы для меня недосягаемой. На этом языке когда-то широко говорили некоторые великие народы, которые существовали задолго до основания Вавилона. Постепенно им перестали пользоваться, пока, наконец, он не остался в употреблении только среди учёных и мудрецов и со временем стал известен лишь как «язык пророчеств». Когда Ездра записал свои Видения, они были изначально разделены на двести четыре книги, и, как вы увидите из ссылок на то, что сегодня называется апокрифом, ему приказали свободно опубликовать их все – для «достойных и недостойных», за исключением последних семидесяти, которые предназначались лишь для «мудрейших из людей». Так, сто тридцать четыре книги были написаны простым языком, а остальные семьдесят – на «языке пророчеств» для пользования только учёными людьми и научными деятелями. Том, который вы держите, один из тех семидесяти.

– Как он попал к вам? – спросил Олвин, с любопытством перелистывая книгу.

– Как он попал в наш орден, вы хотите сказать! Очень просто. Халдейские братства существовали во времена Ездры, и сам Ездра и передал книги их верховному наставнику. Вы не верите, но я вас уверяю, что она подлинная, мы располагаем её полной историей до сегодняшнего дня.

– Так значит, вы все здесь халдеи?

– Не совсем, но большинство из нас. Трое из братии –

египтяне, двое – уроженцы Дамаска. Остальные, как и я, происходят из предположительно исчезнувших народов, но всё ещё сохранивших могущество, о котором люди нынешнего жалкого века не могут даже мечтать.

Олвин искоса бросил на величественную фигуру собеседника взгляд подлинного восхищения.

– Как обстоят дела, – сказал он с откровенным смешком, – я весьма охотно верю, что вы и ваши товарищи – переодетые короли, у всех вас именно такой вид! Но касательно этой книги, – и снова он повертел в руках артефакт, – если её подлинность можно доказать, как вы говорите, то Британский Музей за неё дал бы… ах, подумаем! Дал бы…

– Нисколько! – спокойно закончил Гелиобаз. – Поверьте мне, нисколько! Британское правительство, несомненно, приняло бы её в качестве подарка, как с равным удовольствием приняло бы и подлинный автограф Гомера, которым мы также владеем в другой обители на острове Лемнос. Но наши сокровища не предназначены ни для дарения, ни для продажи, и этот подлинный «Ездра» никогда не покинет наших рук.

– А что с остальными пропавшими шестьюдесятью девятью книгами? – спросил Олвин.

– Они могли сохраниться где-либо на земле, две из них, я знаю, были захоронены в гробу одного из последних принцев Халдеи; вероятно, они найдутся однажды. Блуждает также слух, будто Ездра вырезал своё последнее пророчество на маленькой овальной табличке из чистой яшмы, которую сам и спрятал, и никто не знает где. Но, возвращаясь к нашей теме, вы позволите мне отыскать и перевести для вас упоминания о «поле Ардаф» в этом томе?

– Сделайте это! – нетерпеливо сказал Олвин, сразу же возвращая книгу Гелиобазу, кто, усевшись за стол, начал внимательно просматривать страницы слоновой кости. – Я весь в нетерпении! Даже и без посетившего меня видения я бы страстно желал увидеть это таинственное поле ради него самого; оно должно иметь немалое значение, раз его определяют столь конкретным образом.

Гелиобаз ничего не ответил – он был полностью сосредоточен на изучении мелких, плотно нацарапанных знаков; багровые отсветы теперь заходящего солнца горели за окном и устремили прямой розовый луч на его склонённую голову и белые одежды, освещая ещё более ослепительным блеском золотой крест и драгоценную звезду на его груди и сверкая на серебряных заклёпках древней реликвии перед ним. Вскоре он поднял глаза.

– Вот! – и он поставил палец в нужном месте строки:

«И приказал мне Ангел идти в пустынное поле, и поле было бесплодно и сухо, полно сухих трав, и называлось поле Ардаф.

И там я бродил часами долгой ночью, и серебряные глаза поля раскрылись предо мною, и видел я знамения и чудеса:

И услышал я громкий глас, взывающий: Ездра! Ездра!

И встал я на ноги мои, и слушал, и ждал, пока не услышал голос снова,

Который говорил ко мне: Узри это поле, которое считал ты бесплодным, какую великую славу разоблачает луна!

И я взглянул, и ужаснулся, ибо я уже был не я, но другой.

И был меч смерти в душе другого, и всё же он был никто иной, как я в страдании.

И не узнавал я прежде знакомых вещей, и сердце моё трепетало от смертельного страха в груди.

И голос возопил опять, сказав: Сокройся от опасностей прошлого и угроз будущего, ибо великое и ужасное грядёт к тебе, против него сила твоя, что тростинка на ветру, и мысли твои, что песок летящий…

«И вот, я лежал, как мёртвый и в бессознательном состоянии; он (Ангел) взял меня за правую руку, укрепил меня и, поставив на ноги, сказал мне:

Что с тобою? Отчего смущены разум твой и чувства сердца твоего? Отчего смущаешься?

Оттого, отвечал я ему, что ты оставил меня, и я, поступая по словам твоим, вышел на поле, и вот увидел и ещё вижу то, о чём не могу рассказать»[5]*».*

Здесь Гелиобаз замолчал, прочитав последнее предложение выразительным тоном.

– Это всё, – сказал он, – больше я не вижу ссылок на название «Ардаф». Последние три стиха абсолютно идентичны тем, что находятся в апокрифе.

Глава 7. Нежеланное благословение

Внимание Олвина было поглощено заинтригованным слушанием.

– Преподобный Ездра определённо был поэтом на свой лад! – заметил он легкомысленно. – Есть нечто очаровательное в звучании этих строк, хотя, признаюсь, я и не улавливаю их смысла. И всё же я бы хотел иметь у себя точный текст, вы позволите скопировать их в вашем переводе?

Охотно согласившись, Гелиобаз прочёл выдержку снова, пока Олвин записывал под диктовку.

– Быть может, – добавил он тогда в задумчивости, – быть может, стоит скопировать ещё и несколько отрывков из апокрифа.

После этого принесли Библию, и он списал нужные цитаты: стихи с XXIV по XXVI из девятой главы Второй книги Ездры и стихи с XXV по XXVI из десятой главы той же книги. Покончив с этим, Гелиобаз закрыл и запер оригинальный текст пророка и возвратил в шкатулку; затем обратился к своему гостю в добродушной, но вместе с тем серьёзной манере, сказав:

– Вы точно решились пуститься в это путешествие, м-р Олвин?

Олвин мечтательно выглянул из окна, на пламя заката, отражавшееся от горящего неба на белых вершинах гор.

– Да, я… я так думаю! – этот ответ содержал долю неуверенности.

– В таком случае, – продолжил Гелиобаз, – я подготовил для вас рекомендательное письмо к одному члену нашего ордена, известного как Эльзир из Миляны, он затворник, и скит его находится недалеко от руин Вавилона. Там вы найдёте кров и отдых после утомительного путешествия. Я также начертил карту того района и указал точное расположение вашего поля, – и он выложил квадратный кусок пергамента на стол, – вы легко сориентируетесь. Направления указаны на обороте, так что у вас не возникнет проблем. Вот письмо к Эльзиру, – он вытащил бумагу, – вы возьмёте его сейчас?

Олвин принял его с двусмысленной улыбкой и поглядел на благодетеля, как если бы сомневался в искренности его намерений.

– Премного благодарен! – пробормотал он вяло. – Вы были чрезмерно добры, устроив для меня всё так гладко, но я всё же… сказать по честности, не могу не думать о том, что отправляюсь по нелепому поручению!

– Если таково ваше мнение, то зачем вообще ехать? – спросил

Гелиобаз с лёгким оттенком презрения в голосе. – Возвращайтесь вместо этого в Англию, забудьте Ардаф и забудьте также ту, кто приказала вам встретить её там, и ту, которая ждала вас многие тысячи дней!

Олвин вздрогнул как ужаленный.

– Ах! – воскликнул он. – Если бы я мог быть уверен, что снова её увижу! Если бы, о боже! Эта мысль кажется абсурдной! Если бы это увенчанное цветами чудо моего сна действительно сумело сдержать обещание и прийти на свидание…

– Что же тогда? – спросил Гелиобаз.

– Тогда я бы поверил во что угодно! – вскричал он. – Никакое чудо уже не показалось бы мне чудесным! Ничто невероятное – невыполнимым!

Гелиобаз вздохнул и задумчиво поглядел на него.

– Вы думаете, что уверуете? – спросил он немного грустно. – Но подобные вашим сомнения нелегко развеиваются. Ангелы уже спускались прежде к людям, а люди не принимали их и не узнавали. Ангелы ходят среди нас по многолюдным улицам и по тихим лесам, они наблюдают за нами во сне, слушают, как мы возносим молитвы, но всё же человеческий глаз не видит ничего, кроме материальных вещей перед собою, и сомневается в существовании ангелов, поскольку способен ощутить их духовное присутствие не более, чем без микроскопа различить прекрасных созданий природы, живущих в капле росы или в солнечном луче. Наше земное зрение очень ограничено: оно не способно различить ни бесконечной малости, ни бесконечного величия. И возможно, – нет, наиболее вероятно, – что как сам Пётр в древности отвергал своего Божественного Учителя, так и вы, если б оказались лицом к лицу с ангелом из вашего сна, стали бы отрицать или стремиться опровергнуть его личность.

– Никогда! – заявил Олвин со страстным жестом. – Я бы узнал её из тысячи!

На секунду Гелиобаз бросил на него внезапный испытующий, почти сочувствующий взгляд, затем отвёл глаза и мягко сказал:

– Что ж, будем надеяться на лучшее – пути Господни неисповедимы, а вы скажите мне: теперь – теперь после вашего странного так называемого «видения», вы верите в Бога?

– Я так говорил, конечно, – и лицо Олвина слегка зарумянилось, – но…

– Ага! Вы сомневаетесь! Есть какое-то «но» в этом деле! – и Гелиобаз повернулся к нему с огромным упрёком в ясных глазах. – Уже отступаете с намеченного пути! Уже снова рвётесь во тьму! – Он замолчал, затем положил руку на плечо гостя и продолжил мягким, но выразительным тоном: – Друг мой,

запомните, что скептик и противник Бога есть враг собственного благополучия. Пусть эта противоестественная и бесполезная война человеческого разума против божественного инстинкта умрёт в вас – в вас, кто, как поэт, обязаны уравновесить свой характер таким образом, чтобы он мог гармонично следовать своему высокому призванию. Вам известно, что́ один из ваших современных писателей говорит о жизни? Что это «сон, в котором мы цепляемся за тени, словно они вещественны, и спим глубже всего именно тогда, когда нам кажется, что мы бодрствуем»[6]. Поверьте, вы уже достаточно спали – пришло время проснуться навстречу полному сознанию своей судьбы.

Олвин слушал молча, чувствуя скрытый упрёк и некоторый стыд: откровенно высказанные слова задели его сильнее, чем он старался показать, – голова его поникла, он не отвечал. В конце концов, у него поистине было не больше объективных оснований для неверия, чем у других – для веры. Со всей его учёбой в современных научных школах он продвинулся в своих познаниях не дальше, чем древний Демокрит; Демокрит, который основывал свою систему ценностей на строгих математических расчётах, беря в качестве точки отсчёта вакуум и атомы, и кто, годами направляя свой разум по пути постоянных изысканий, пришёл, наконец, к заключению, что человеку совершенно недоступны объективные знания, и даже если истина находится в его власти, то он никогда в ней не уверен. Был ли он, Теос Олвин, мудрее Демокрита? Или был ли этот статный халдейский монах с ясным, проницательным взором, и нежной улыбкой, и символом Христа на груди мудрее них обоих? Мудрее в вещах вечных, чем любой из древнегреческих утончённых мыслителей или современных подражателей их теорий? Было ли, могло ли быть что-либо всё ещё непознанное или сокрытое в Христианской вере? Как только эта идея пришла ему в голову, он вскинул взгляд и встретился глазами со спокойным, пристальным взором, исполненным наблюдательной нежности и терпения.

– Вы что, читаете мои мысли, Гелиобаз? – спросил он с вымученным смешком. – Уверяю вас, они не стоят ваших усилий.

Гелиобаз улыбнулся, но не ответил. Как раз в тот момент один монах вошёл в комнату с большим фонарём, который поставил на стол, и таким образом прерванный разговор так и не возобновился.

Вечерние тени теперь стремительно уплотнялись, и над самой далёкой видимой снежной вершиной первая звезда уже слабо мерцала на фоне тёмного неба. Вскоре зазвонил монастырский колокол, как и прошлой ночью, когда Олвин,

только что приехав, сидел в одиночестве в трапезной, беспокойно гадая, среди каких людей он оказался и чем же обернётся в итоге его приключение в диких горах Кавказа. Его взгляды, несомненно, претерпели ряд изменений с тех пор, поскольку он более не был расположен насмехаться или осуждать религиозные чувства, хотя всё ещё отстоял от истинной религиозности столь же далеко, сколь и всегда. Настроение его разума всё ещё было исключительно скептическим, высокомерное упорство в том, что он считал своими твёрдыми, укоренившимися убеждениями, лишь едва поколебалось, и теперь будущая поездка к Ардафу виделась ему фантастической прихотью, капризом собственного воображения, который он вознамерился удовлетворить просто из любопытства.

Но, несмотря на упрямство материалистических принципов, которым он пропитался, его высшие чувства уже незаметно для него самого начинали возрождаться; память его невольно возвращалась к первым нежным дням ранней юности, когда яд сомнений ещё не просочился в душу; его характер, от природы возвышенный, творческий и горячий, начинал пересиливать погибельное дыхание слепого атеизма, которое временно парализовало его силы; и, по мере того как он всё больше и больше невольно поддавался кротким убеждениям этих дружественных сил, прежняя горечь постепенно смягчалась. В нём теперь не осталось и следа того мрачного, насмешливого и безрассудного презрения, которое до недавнего мистического опыта проявлялось во всём его поведении и манерах; улыбка теперь чаще появлялась на его губах; и он, казалось, охотно демонстрировал солнечную сторону своего характера – характера страстного, откровенного, благородного, в котором лишь немного исказились истинные качества и сузился круг привлекательных черт. Над его нынешним состоянием рассудка довлело любопытное, смутное чувство полуприятного раскаяния: хрупкие, неопределённые, почти божественные предположения наполняли его мысли той же свежестью, что прохладный ветерок дарует увядающим, поникшим цветам; поэтому, когда Гелиобаз, подняв «Ездру» в серебряном окладе и готовясь уйти из комнаты, следуя вечернему призыву колокола, мягко спросил: «Вы пойдёте на службу, м-р Олвин?», он сразу же кивнул с радостной готовностью, которая несколько удивила его самого, поскольку он помнил, как в предыдущий вечер сам же презирал и внутренне противился всем формам религиозных обрядов.

Тем не менее он не переставал размышлять над причиной перемены своего настроения. Он последовал за монахами в часовню с видом грациозной мужественности и спокойным

почтением, которые шли ему гораздо больше, чем обидчивость и оборонительное поведение, которые он прежде демонстрировал в той же самой молельне; он прослушал впечатляющую мессу от начала до конца без малейшего раздражения или нетерпения; и хотя, когда братья преклонили колени, он не смог смирить себя настолько, чтобы тоже встать на колени, он всё же внешне воздал уважение, присев и склонив голову, – «из уважения к благим намерениям сиих достойных людей», как он сам себе сказал, чтобы утихомирить внутренний конфликт собственных противоборствующих и противоречивых чувств. По окончании службы он, как и раньше, ждал, пока выйдут монахи, и был поражён внезапным удивлением, угрызением совести и сожалением, когда Гелиобаз, шедший как обычно в конце, остановился рядом и сказал:

– Я попрошу вас проститься здесь, друг мой! Сегодня у меня много дел, и лучше бы нам уже не видеться перед вашим отъездом.

– Отчего же? – спросил поражённый Олвин. – Я рассчитывал на новый разговор с вами.

– Ради чего? – мягко спросил Гелиобаз. – Чтобы мне пришлось доказывать, а вам отрицать то́, что Господь со временем уладит Сам? Нет, не будет добра от подобных споров.

– Но, – поспешно заговорил Олвин, ярко вспыхнув при этих словах, – вы не дали мне возможности вас отблагодарить…

– Благодарность? – спросил Гелиобаз почти грустно, с тенью упрёка в тоне мягкого, зрелого голоса. – Вы благодарны за то, что были обмануты трансом? Одурачены, как вам кажется, какой-то полуверой в жизнь посредством гипнотизма? Вашей первой просьбой ко мне, я знаю, было погрузить вас в обманчивое состояние воображаемого счастья, и теперь вы думаете, что вчерашнее приключение стало результатом этого в высшей степени глупого желания. Вы ошибаетесь! И, как обстоят дела, благодарностей мне не требуется. Если бы я и в самом деле вас загипнотизировал, то, вероятно, заслуживал бы некой награды за применение своих чисто профессиональных умений, но, как я уже вам сказал, я ничего не сделал. Ваша судьба, как это и было всегда, находится в ваших руках. Вы нашли меня по собственной воле, вы использовали меня как инструмент – безвольный инструмент, запомните! Короче, – тут он заговорил медленнее и с сильным ударением, – вы отправляетесь к полю Ардаф, чтобы разрешить загадку, а именно: не является ли то, что мы зовём жизнью, сном, а сон, быть может, не есть ли реальность! К этому вашему предприятию я не имею никакого отношения, не стану и говорить больше ничего, кроме как, да поможет вам Бог

на вашем пути!

Он протянул руку, Олвин пожал её, испытующе глядя в прекрасное, мудрое лицо, ясные, печальные глаза, на твёрдый, но чувственный рот, где покоилась серьёзная, но добродушная улыбка.

– Что вы за странный человек, Гелиобаз! – импульсивно воскликнул он. – Хотел бы я узнать вас лучше!

Гелиобаз одарил его дружеским взглядом.

– Стремитесь лучше узнать побольше о себе самом, – просто ответил он. – Нет более глубокой, великой и сложной тайны для познания, чем тайна собственного существования!

Олвин всё ещё сжимал его ладонь, не желая отпускать. Наконец отпустив её со вздохом, он сказал:

– Что ж, в любом случае, хоть мы и прощаемся, но ненадолго. Мы просто обязаны встретиться вновь!

– Если обязаны, то встретимся! – шутливо поддержал его Гелиобаз. – Чему быть, того не миновать! А пока прощайте!

– Прощайте! – и при этих словах взгляды их встретились.

Инстинктивно, под действием внезапного порыва Олвин склонил голову в нижайшем и самом почтительном поклоне, какой, вероятно, когда-либо отдавал за всю жизнь смертному созданию, и при этом Гелиобаз замер, уже повернувшись, чтобы уйти.

– Вы просите благословения, дорогой мой Скептик? – спросил он мягким тоном, дрожавшим от нежности в тишине сумрачной часовни. И затем, не дождавшись ответа, возложил руку на тёмные волосы юноши, а другой медленно начертал крест на гладком, широком лбу. – Прими его, сын мой! Я могу дать тебе только благословение креста Христова, который, несмотря на неверие, взывает к тебе, спасает тебя и всецело владеет тобою!

И прежде чем Олвин оправился от удивления от столь нежеланного благословения, Гелиобаз уже исчез, оставив его в одиночестве. Подняв голову, он смотрел в глубину коридора, где только что видел отдалённый проблеск исчезающих белых одежд, и на секунду его заполнило безмолвное возмущение. Ему казалось, что знак, таким образом нанесённый ему на лоб, должен быть видимым, словно красная метка, выжженная на плоти; и все его давние и яростные предубеждения против Христианства нахлынули снова с неудержимой стремительностью некогда изгнанных врагов, а теперь снова возвратившихся, чтобы взять цитадель штурмом. Однако почти так же быстро ярость его угасла: он вспомнил, что в своём видении тенистый путь почти предшествовал ему в форме креста, и в более спокойном настроении он взглянул на рубиновую звезду, ровно сиявшую над

тёмным алтарём. Невольно слова: «Мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему», пришли на память, но он отмахнулся от них так же быстро, как они и возникли, и, обнаружив замешательство и растущее беспокойство мыслей, он поспешно вышел из часовни.

Присоединившись к монахам, собравшимся живописной группой вокруг камина в трапезной, он проболтал с ними около получаса, надеясь выяснить у них в ходе разговора некоторые подробности жизни, характера и основных целей существования братства, однако в этой попытке он потерпел фиаско. Они говорили о Гелиобазе, как верующие могли бы говорить о святом: с выраженным почтением и восхищенной любовью, – но о многих пунктах, связанных с его верой или духовной природой его теорий, они умалчивали, очевидно, почитая этот предмет слишком сокровенным для обсуждения. Поняв, что вопросами ничего не добиться, Олвин пожелал доброй ночи и уединился в маленькой спальне, приготовленной для него, где погрузился в глубокий, исцеляющий сон без сновидений.

На следующее утро он поднялся на рассвете, и задолго до того, как солнце появилось над вершинами высочайших пиков Кавказа, он выехал из монастыря Ларса, оставив крупное подаяние в коробочке для пожертвований на благо многочисленных дел милосердия, в которых братия принимала участие, таких, например, как поиски затерявшихся в снегах путников или захоронение многочисленных жертв в районе Дарьяльского ущелья, погибших от рук банды яростных горных грабителей и убийц, которые порой наводняли эту уединённую местность. Чтобы как можно скорее оказаться у крепости Пассанаури, он примкнул к группе отважных русских альпинистов, которые только что успешно завершили подъём на гору Казбек, и в их компании преодолел расстояние от скалистой долины Арагвы до Тифлиса, куда он попал в тот самый вечер. Из этого мрачного и унылого города, со всех сторон окружённого тенью бесплодных и пещеристых холмов, он отправил рукопись своей таинственным образом созданной поэмы вместе с письмом другу Виллерсу, в Англию; и затем, поддавшись сжигающему чувству внутреннего нетерпения, – нетерпения, которое не допускало никаких промедлений, – он решительно и сразу же выдвинулся в свой долгий путь паломника «в земли песков, и разорения, и злата»; в земли пугающего пророчества и неминуемой судьбы; в земли могущественных и печальных воспоминаний, где неспешная река Евфрат охватывает тускло-жёлтым кольцом пепел великого царства, павшего, чтобы никогда уже не восстать.

Глава 8. По водам Вавилона

Нелёгкую поездку предпринял он столь поспешно, окрылённый верою в мечту, ибо он всё ещё верил, что это была лишь мечта. Множество изматывающих дней и ночей заняли суровые неудобства путешествия, и хотя он постоянно говорил себе, что было неслыханным безумием преследовать призрачную химеру собственного воображения, – простой фантом, который так или иначе завладел его мозгом в тот момент, когда этот мозг находился под воздействием (как он продолжал считать) сильного гипноза или магнетического влияния, – но продолжал следовать своим путём с таким несгибаемым упорством, которого никакая усталость не могла ни испугать, ни ослабить. Никогда он не ложился спать без слабой надежды вновь увидеть, пусть хоть во сне, сияющее существо, чьи призрачные слова толкнули его на приключение «Ардаф», но в этом его ожидания не осуществились. Никаких больше ангелов с цветочными венками не витало перед ним, никакого нежного любовного шёпота, вдохновения или обещаний не касалось мистическим образом его слуха в тишине полуночи; его сон был всегда глубоким и спокойным как у ребёнка и полностью лишённым сновидений.

Одно утешение, однако, оставалось у него: он мог писать. Не проходило ни дня без нового вдохновения, какой-нибудь свежей, великой и прекрасной идеи, что расцветала совершенным стихом; чудесные строки рифм, горящих пылом и изяществом, казалось, слетали с карандаша без всяких усилий с его стороны; и если в былые времена у него имелись причины сомневаться в силе своего поэтического дара, то теперь стало очевидным, что больше в этом не было необходимости. Его разум был словно прекрасная заново перетянутая арфа, настроенная и дрожащая сознанием сдерживаемой внутри неё музыки; и, когда он вспоминал поэтический шедевр, написанный в вероятном трансе, рукопись которого вскоре окажется в руках лондонских издателей, сердце его исполнялось растущим и неудержимым чувством гордости. Ибо он знал и предчувствовал – с неопределимой, но совершенной уверенностью, – что, даже если публика или критики стали бы его порицать, слава поэта высочайшей пробы была ему гарантирована и обеспечена. Глубокая безмятежность воцарилась в его душе, безмятежность, которая, казалось, тем больше росла, чем дальше он продвигался вперёд; неотступная усталость, когда-то владевшая им, теперь осталась в прошлом, и смутное приятное довольство заполняло

его существо, словно аромат ранних роз, пронизывающий тёплый воздух. Он чувствовал, он надеялся, он любил! И всё же его чувства, надежды и стремления вращались вокруг чего-то одновременно неопределённого и неясного, столь же туманного и далёкого, как и первый слабый белый воздушный знак, навеянный луною в небесах, когда на грани восхода она раскрывает свои королевские намерения ожидающим лакеям-звёздам.

С практической точки зрения его поездка получалась нудной и по большей части скучной и неинтересной. В те сатанинские дни «блужданий взад-вперёд по земле и ходьбы по ней вверх-вниз» путешествие утрачивало значительную часть своего романтического очарования. Мысль о длительных переходах сегодня уже не заполняет будущего искателя приключений приятным чувством неизведанности и таинственности – он точно знает, что его ждёт. Для него всё уже выписано ровными линиями обыденности, и ничего не осталось для работы воображения. Европейский континент оказался из конца в конец перерытым туристами, которые превратили его в нечто вроде истощённого сада удовольствий, где многообразные развлечения стали слишком знакомыми, чтобы возбуждать сколько-нибудь живое любопытство; Восток находится в примерно схожем состоянии; толпы британских и американских экскурсантов галопируют имперские земли Персии и Сирии с безучастным видом существ, которым принадлежит не какой-то там кусочек территории, но весь мир; и скоро не останется ни пяди земли на узких просторах нашей бедной планеты, которая не была бы вытоптана торопливыми, шаркающими, непочтительными шажками какого-либо представителя фертильной вездесущей англоговорящей расы.

На пути Олвин встречал многих соотечественников – путешественников, которые, как и он сам, побывали на Кавказе и в Армении, и одни направлялись теперь в Дамаск, другие в Иерусалим и в Святую Землю, третьи, опять-таки, в Каир или в Александрию, чтобы оттуда уже отплыть домой обычной средиземноморской переправой. Однако среди всех этих перелётных птичек ему ни разу не посчастливилось встретить того, кто ехал бы к развалинам Вавилона. И он был этому рад, поскольку исключительная природа его предприятия вместе с тем делала нежелательным наличие спутников; и хотя однажды ему и выпал случай повстречать джентльмена писателя-прозаика с блокнотом, который чрезвычайно стремился с ним сдружиться и разузнать, куда он направлялся, Олвин успешно отделался от этого потенциального кошмара в Мосуле, заведя его

в удивительную древнюю библиотеку, где хранилось множество французских переводов турецких и сирийских романсов. Здесь писатель-прозаик вознёсся прямиком на седьмое небо плагиата и принялся энергично копировать целые сцены и описательные фрагменты у погибших и позабытых авторов, неизвестных английским критикам, с целью дальнейшего их использования в собственных «оригинальных» фантастических произведениях; и за этим конгениальным увлечением он и позабыл напрочь о «темноволосом мужчине с широкими бровями Марка Антония и губами Катулла», как он уже успел описать Олвина в своём вышеупомянутом блокноте. Находясь в Мосуле, Олвин и сам увлёкся литературой – небольшим изящным томиком под названием «Конечная философия Аль-Газали Аравийского». Он был напечатан на двух языках: оригинальном арабском на одной странице, а напротив него был перевод на очень древний французский. Автор, родившийся в 1058 году нашей эры, описывал себя как «бедного студента, стремившегося познать истину вещей»; и его работа представляла собой серьёзное, проницательное, дотошное исследование законов природы, возможностей человеческого разума и обманчивых выводов человеческого рассудка. Читая его, Олвин был поражён, обнаружив, что почти все вопросы морали, предлагаемые мировому сообществу самыми современными учёными и высококультурными умами, уже давно были открыты и тщательно разобраны этим самым Аль-Газали. Один отрывок особенно захватил его внимание, оказавшийся исключительно подходящим к его нынешнему состоянию, и гласил он следующее:

«Я начал анализировать предметы чувственного восприятия и умозрительности, чтобы понять, подвержены ли они сомнениям. Тогда сомнения нахлынули на меня в таком множестве, что неуверенность моя стала полной. Откуда происходит моя уверенность в вещах чувственного восприятия? Сильнейшее из всех наших чувств восприятия – это зрение, и при этом, когда мы смотрим на звёзды, они представляются нам маленькими, как монетки, но математические доказательства убеждают нас, что они крупнее Земли. Эти и иные предметы оцениваются *чувствами*, однако отрицаются *разумом* как ложь. По этой причине я отвергаю чувства, уверившись в их абсолютной субъективности. Быть может, предположил я, нет ничего более достоверного, чем выводы разума? Так называемых первооснов, как например, что десять больше, чем три? На это чувства отвечают: „Откуда ты знаешь, что твоя уверенность в разуме происходит не оттуда же, откуда и твоя уверенность в *нас*? Когда ты полагаешься на нас, вмешивается разум и называет нас ложью,

если бы ни разум, то ты продолжил бы и дальше полагаться на нас. А нет ли какого-либо *высшего* судьи над разумом, кто, если бы объявился, опроверг бы доводы разума таким же образом, как и разум опровергает нас? Невидимость такого судьи ещё не доказывает его отсутствия“. Я попытался ответить на это возражение, и затруднения мои возросли, когда я попытался проиллюстрировать это при помощи сна. Я сказал себе: „Во время сна вы воспринимаете видения как реальные и вещественные, а пробудившись, вы понимаете, что они были всего лишь видениями. Как же можно быть уверенным в том, что всё, что вы чувствуете и знаете, на самом деле существует? Всё это истинно, поскольку отвечает вашему состоянию в данный момент, но тем не менее есть вероятность, что появится и другое состояние, которое станет для вас пробуждением и продемонстрирует, что ваше нынешнее состояние как раз и есть сон“».

Снова и снова Олвин перечитывал эти слова и размышлял над глубокой и сложной загадкой, которую они предлагали, и его коснулось странное чувство стыдливого угрызения совести, когда в конце книги он дошёл до признания Аль-Газали в своём крайнем бессилии и покорности, которое он записал так:

«Я проанализировал все свои действия и обнаружил, что лучшими из них были те, что относились к воспитанию и обучению, но даже и в них я узрел себя отданным во власть малозначительных наук, вовсе бесполезных в ином мире. Размышляя о цели моего обучения, я понял, что она была не совсем искренней в глазах Всевышнего. И что все мои усилия были направлены на обретение собственной славы. По этой причине раздав своё богатство, я покинул Багдад и удалился в Сирию, где и пребываю в одинокой борьбе с собственной душой, сражаясь со страстями и упражняясь в очищении сердца, готовясь к переходу в мир иной».

Трактат древнего философа, вместе с мистическим отрывком оригинальной книги Ездры и избранными стихами из апокрифа составляли всё чтение Олвина до самого конца поездки; восторженные строки пророка он выучил наизусть, как любимую поэму, и часто он ловил себя на бессознательном повторении странных слов:

«*Узри это поле, которое считал ты бесплодным, какую великую славу разоблачает луна!*

И я взглянул, и ужаснулся, ибо я уже был не я, но другой.

И был меч смерти в душе другого, и всё же он был никто иной, как я в страдании.

И не узнавал я прежде знакомых вещей, и сердце моё трепетало от смертельного страха в груди».

Что они могли означать, гадал он? И был ли вообще смысл в тех бледных далёких домыслах, что случайно и с трудом приоткрывались за смутными и бессмысленными восторгами языка, исполненными ярости и звука, но ничего не означавшими?

Знойный, палящий день уже приближался к вечеру, когда он наконец добрался до Хилле. Этот маленький скучный городок, построенный в начале двенадцатого века на обильно рассеянных тогда обломках Вавилона, ничего не мог предложить современному путешественнику, кроме разнообразных неудобств вроде невыносимой жары, пыли и песчаных бурь, грязи, мух, дурной пищи и общего дискомфорта. Сочтя вид этого места не просто малопривлекательным, но положительно удручающим, Олвин оставил свой лишний багаж в маленьком неприглядном общежитии, которое содержал француз, живший в основном за счёт археологов и исследователей; и после часового отдыха отправился в одиночестве и пешком в «восточный квартал» развалин, а именно, к тем, которые, как считали исследователи, начинались примерно в двух милях выше Хилле. Немного дальше за ними и ближе к речному берегу, согласно полученной им информации, проживал религиозный затворник, которому он привёз рекомендательное письмо от Гелиобаза; письмо, на конверте которого красовалась надпись на латыни, в переводе означавшая следующее: «Почтеннейшему и дражайшему Эльзиру Милянскому, Хижина отшельника, пригород Хилле. С верой, миром и доброжелательностью. Приветствую». Стремясь попасть в убежище Эльзира затемно, он шёл вперёд так быстро, как только позволяла ему жара и непроходимость песчаной почвы, придерживаясь едва различимой дорожки, что многократно пересекала через разные промежутки многочисленные выступы земных разломов, мелкие фрагменты кирпича, асфальта и керамики, которые теперь были единственным напоминанием о величественных зданиях когда-то знаменитого Вавилона.

Низкое красное солнце медленно опускалось за край горизонта, когда, остановившись, чтобы оглянуться, он заметил невдалеке тёмные очертания великого кургана, известного как «Бирс Нимруд», и понял с долей удивления, что фактически оказался со всех сторон окружённым осыпавшимися и почти неразличимыми развалинами бывшего верховного, всегосподствующего ассирийского города, что был когда-то как «золотая чаша в руках Всевышнего», а теперь поистине представлял собой не более чем «разбитый пустой корабль». Ибо слова «И Вавилон будет грудою развалин» определённо исполнились с пугающей точностью: «грудою» он и в самом деле стал – грудою унылой земли, из которой тут и там торчат

блёклые зеленоватые пучки дикого тамариска, которые, хоть и оживляют слегка мрачность пейзажа, но вместе с тем и усиливают его однообразную сонливость. Олвин, созерцая печальную пустыню, почувствовал сильное разочарование, ведь он ожидал чего-то иного: воображение рисовало ему эти исторические руины в огромных масштабах и более впечатляющего вида. Его усталый взгляд остановился на неспешном тусклом поблёскивании Евфрата, который петлял на пустынных пространствах, где «могущественный град, гордость народов» когда-то стоял, и поэт, хоть он и был таковым до мозга костей, не мог увидеть ничего поэтического в этих призрачных курганах и каменных грудах, кроме того, что гласит древнее скриптуальное пророчество: «Пал! Пал Вавилон! Я напою его вождей и мудрецов, наместников, начальников и воинов; и они уснут вечным сном и не проснутся больше, – возвещает Царь, чье имя – Господь Саваоф». И поистине казалось, будто проклятие, которое опустошило былое великолепие города, сбывалось даже на его руинах, выглядевших ничтожными.

В тот самый момент зарево заходящего солнца коснулось верхнего края Бирс Нимруда, придав ему на мгновение странный вид: казалось, будто бы призрак какого-то вавилонского наблюдателя помахивал зажжённым факелом с его вершины; однако горящий блеск вскоре пропал и умер в серых сумерках, накрывших тишиной весь печальный пейзаж. С неожиданным чувством уныния и усталости Олвин испустил глубокий вздох и скоро заметил стоявший немного к северу от реки маленький грубо сколоченный домик с деревянным крестом на крыше. Правильно заключив, что это должна была быть обитель Эльзира Милянского, он быстро направился к ней и постучал в дверь.

Ему немедленно отворил седовласый колоритный старик, приветствовавший его молчаливым кивком, одновременно приложив руку в лёгком, но выразительном жесте к собственным губам, сообщая о своей немоте. Это и был сам Эльзир. Одет он был в ниспадающие одежды, похожие на те, что носили монахи Дарьяльские, и со своей высокой, ладной фигурой, длинной серебристой бородой и глубоко посаженными, но яркими глазами он мог бы послужить отличной моделью для вдохновенного пророка из пышной древности. Хоть природа и обделила его речью, но безмятежное лицо выразительно говорило само за себя: его зрелое, доброжелательное выражение отражало внутренний сердечный мир, что так часто придаёт старикам даже большую прелесть, чем молодость. Он внимательно прочёл письмо Олвина и затем, серьёзно наклонив голову, сделал учтивый и выразительный жест, сообщая, что он и весь его дом были

в распоряжении гостя. Немедленно он подкрепил серьёзность своего жеста делом, поставив прекрасный ужин и вино перед гостем, и, более того, пока Олвин ел и пил, он выжидал с почтением и скромностью, которые несколько смутили Олвина, не желавшего доставлять хлопот подобным обращением, в чём множество раз и заверял его с глубочайшей искренностью. Но всё это было бесполезно – Эльзир лишь добродушно улыбался и продолжал исполнять обязанности гостеприимного хозяина на свой лад. Спорить с ним, очевидно, было бесполезно. Позже он показал гостю маленькую, подобную келье комнатку с чистой кроватью, столом, стулом и большим распятьем на стене, и, красноречиво показав знаками, что здесь усталый путник мог найти добрый приют, он низко поклонился и удалился на ночь.

«Какое безмятежное место эта обитель, – подумал Олвин, как только удалявшиеся шаги Эльзира стихли, – ни единого слабого шороха листьев на ветру!» А какое проницательное, серьёзное, печальное выражение нежности заполняло лицо этого скульптурного образа на кресте, который в его интимной компании будто завладел маленькой комнатой! Он не мог вынести этого опущенного, проницательного взгляда, исполненного небесной доброты и жалости. Резко повернувшись, он распахнул узкое окошко и, положив руки на подоконник, стал оглядывать пейзаж. Полная луна медленно восходила; круглая и огромная, она висела жёлтым щитом на фоне тёмной, плотной стены небес. Развалины Вавилона были едва различимы, река сияла золотой рябью; очертания Бирс Нимруда слабо обрамлял свет, и маленькие прожилки янтарного блеска мягко блуждали вверх и вниз по его тёмным склонам.

«*И пошёл я на поле, которое называется Ардаф, и сел там в цветах!*» – размышлял Олвин вслух тихим голосом, его мечтательный взгляд остановился на постепенно темнеющих небесах.

«А почему бы не пойти туда прямо сейчас!»

Глава 9. Поле цветов

Как только эта идея посетила его ум, он тут же был готов к действию, хотя лишь немногим ранее, чувствуя себя полностью измотанным, собирался ждать до утра, прежде чем добраться до главной цели своего длинного паломничества. Но теперь весьма странным образом всё чувство усталости внезапно покинуло его, острое нетерпение сжигало кровь, и властное влияние, более сильное, чем он сам, будто поторапливало к немедленному достижению цели. Чем больше он об этом думал, тем сильнее беспокоился и тем сильнее жаждал выяснить как можно скорее, был ли истинным или ложным его мистический сон в монастыре. В свете маленького фонаря на столе он сверился с картой – с картой, начерченной рукою Гелиобаза, – а также с указанными ориентирами, хотя их он перечитывал столько раз, что уже знал наизусть. Они просто и кратко описывали следующее: «На восточном берегу Евфрата, прямо напротив обители, находится потонувший фрагмент бронзовых врат, прежде принадлежавший дворцу Вавилонских царей. По прямой линии, в трёх с половиной милях к юго-западу от этого фрагмента, ты найдёшь рухнувшую колонну красного гранита, наполовину засыпанную землёй. Квадратный участок земли, находящийся позади этой сломанной колонны, и есть поле, известное со слов пророка Ездры, как „поле Ардаф“».

Он уже находился на восточном берегу Евфрата, и прогулка длинною в три с половиной мили определённо могла занять около часа или чуть больше. Оставив сомнения, он вышел из дома, решив, что если бы встретил Эльзира, то сказал бы, что направлялся на подлунную прогулку перед сном. Сего почтенного отшельника, однако, нигде не было видно, и, поскольку дверь его жилища была заперта лишь на лёгкую щеколду, он без труда проскользнул наружу незамеченным. Оказавшись на воздухе, он замер, испугавшись звука смелых, звонких, молодых голосов, поющих ясным и стройным хором: «Смилуйся Господи! Смилуйся Христе! Смилуйся Господи!». Он прислушался, оглядываясь вокруг себя в крайнем изумлении. В поле зрения не было ни единого жилья, кроме Эльзирова, и хор, конечно, звучал не оттуда, а словно поднимался вверх от земли, витая нежным эхом взад-вперёд среди беззвучного воздуха. «Смилуйся Господи! Смилуйся Христе!» Теперь этот звук колыхался вокруг него, словно близкий колокольный звон!

Он стоял, не двигаясь, озадаченный и поражённый. Может, рядом находился подземный грот, где пели эти набожные певцы?

Или… И лёгкая дрожь пробежала по его спине при мысли о том, что в этой музыке присутствовало нечто сверхъестественное, несмотря на явно человеческое исполнение. В этот момент всё стихло и стало как прежде. И, злясь на собственные бредовые фантазии, он вспомнил о своей цели – потонувшем обломке, который упоминал Гелиобаз. Очень скоро он его отыскал, глубоко погружённый в землю и так сильно почерневший и испорченный временем, что едва ли возможно было найти следы когда-то украшавшей его резьбы. Фактически, в нём невозможно было бы узнать фрагмент ворот вообще, если бы только до сих пор не сохранилась огромная петля, которая частично держалась на одном огромном заржавленном гвозде, а прямо за ним росло дерево странного унылого вида: его ствол был расколот, и одна половина стояла высохшая. Вторая половина скорбно опиралась на одну сторону, склонив свои ветви к самой земле, подметая богатством длинных глянцево-зелёных листьев пыль разрушенного города. То было знаменитое дерево, называемое местными жителями «Атель», о котором древние легенды рассказывают, будто оно прежде было излюбленным вечнозелёным и самым опекаемым и ценимым вавилонской знатью, которая, обожая его приятную тень, не жалела средств на выращивание в собственных висящих садах и просторных дворах, хотя его происхождение и было чуждым этой земле. А теперь, когда некому уже стало заботиться о том, расцветает ли оно или увядает, оно с надеждой клонится к покинутому месту, где когда-то его столь нежно пестовали, выражая собственную симпатию окружающему опустошению; расколовшись надвое в своём росте, – на одну погибающую и другую зелёную половины, – это создание с разбитым сердцем продолжает хранить верность памяти былой любви и счастья. Олвин стоял под тёмными ветвями, ничего не ведая ни о его названии, ни об истории; то и дело стенающий шёпот будто пробегал по ним, хотя стояло безветрие, и он слышал жуткие сокрушённые вздохи с чувством невольного благоговения. Вся эта сцена выглядела намного более впечатляющей ночью, чем днём, великие земляные курганы Вавилона казались гигантскими могилами, замкнутыми сверкающим кольцом колышущейся на ветру воды. И снова он осмотрел притопленный кусок древних врат, а затем, чувствуя достаточную уверенность в таком начале, он повернул лицо прямо на юго-запад – туда, где ландшафт перед ним лежал ровный и обнажённый при свете луны. Почва была песчаная и тяжело проходимая, кроме того, ночь стояла слишком жаркая – слишком жаркая для быстрой ходьбы. Он бросил взгляд на часы – несколько минут одиннадцатого. Умеренным шагом, который

позволяла поддерживать жара, вполне вероятно было добраться до таинственного поля к половине двенадцатого, или раньше. И тогда нервы его натянулись от сильного напряжения, и если бы он поддался собственному болезненному нетерпению, то, скорее всего, пробежал бы весь путь, не придав значения духоте, однако он обуздал свой порыв и неспешно зашагал к цели, упрекая себя по пути в крайней безрассудности собственных ожиданий.

– Есть ли кто в мире безумнее меня! – шептал он с каким-то презрением. – Какой ещё разумный человек повинен в подобном отъявленном дурачестве! Благоразумен ли я? Конечно же, нет! В своём ли уме нахожусь? Думаю, что да, но могу и ошибаться. Вопрос в том, что есть благоразумие? И что значит «быть в своём уме»? Никто не может решить! Посмотрим, способен ли я хладнокровно оценить собственное смехотворное положение. Всё свидетельствует о том, что я попал под гипноз! У меня был сон, и я видел в нём женщину, – тут он внезапно поправился: – женщину, я сказал? Нет! Она была чем-то большим! Прекрасным призраком, ослепительным творением моего воображения, неповторимым идеалом, который я однажды увековечу! Да! Увековечу в песни!

Он возвёл глаза к сумрачному небосводу, густо усеянному звёздами, и как раз в тот момент заметил пушистое, с серебристым краем облачко, быстро проплывавшее под луной и спускавшееся к земле; форма его напоминала белокрылую птицу с нежными прожилками розового тут и там, словно она только что побывала в каких-то далёких землях, где солнце только восходило. Это было единственное облачко на небе, и оно производило необыкновенный, почти феноменальный эффект стремительностью своего движения при отсутствии малейшего ветерка. Олвин наблюдал за его скольжением вниз, пока оно полностью не исчезло, и затем продолжил свои размышления.

– Любой, даже и без магнетического воздействия, мог иметь подобные видения! Взять курильщика опиума, например, чья жизнь – это одна длинная неясная дорога видений; предположим, он решил бы поверить всем диким фантазиями одурманенного мозга и настаивал бы на следовании им до стадии некого определённого завершения; единственным подходящим местом для такого человека стал бы сумасшедший дом. Даже самые обыкновенные люди, чей разум никогда не подвергался ненормальному возбуждению, видят очень занятные и необъяснимые сны, но, при всём этом, они не настолько глупы, чтобы в них верить. Правда, есть ещё моя поэма – не знаю, как я её создал, но она есть от начала до конца фактический материальный результат моего видения, и по-своему весьма

странный, по меньшей мере. Но, что ещё удивительнее, – это моя любовь к сияющему призраку. Да, я действительно влюбился в неё так, как ни в одну простую женщину, будь она хоть троянской Еленой, я не влюбился бы сильнее! Конечно, несмотря на противоречивые заверения этого выдающегося халдейского монаха Гелиобаза, я чувствую себя жертвой обмана разума, по этой причине я и должен увидеть поле Ардаф, дабы увериться в том, что ничего из этого не выйдет, и в этом случае я бы излечился от своего безумия.

Он шёл ещё недолго и затем остановился на секунду, чтобы свериться с картой при свете луны. При этом он ощутил необычайное, почти ужасающее спокойствие, окутавшее его. Хотя в обители отшельника и было тихо, как в закрытой могиле, но та тишина не имела ничего общего со здешней. Он чувствовал, как она смыкалась вокруг него толстыми стенами, он слышал ровное биение собственного сердца, даже течение собственной крови, но никаких иных звуков. Земля и воздух, казалось, не дышали, словно находясь в каком-то сдерживаемом таинственном восторге; звёзды были похожи на множество огромных живых глаз, нетерпеливо смотревших вниз, на одинокого человека, который бродил в ночи по землям пророков древности; сама луна показалась, чтобы взглянуть на него с открытым изумлением. Он с неприязнью ощутил это молчаливое созерцание природы, напряг слух, вслушиваясь в углублявшуюся тишину всего сущего, и, чтобы преодолеть странные эмоции, что одолевали его, он ускорил шаг, однако через две-три минуты снова резко остановился. Ибо там, перед ним, аккурат поперёк его пути лежала рухнувшая колонна, которая, согласно Гелиобазу, отмечала границу искомого поля! Ещё один взгляд на карту помог определить положение – наконец-то он достиг конца своего путешествия! Сколько же времени? Он взглянул на часы – двадцать минут двенадцатого.

Непонятное, неестественное спокойствие вдруг завладело им, он осмотрел почти хладнокровно раскинувшуюся перспективу перед собой: широкий квадрат земли, покрытый пучками жёсткой травы и зарослями дикого тамариска, – и больше ничего. Это и было поле Ардаф – это голое, неприглядное дикое пространство без единого даже деревца, отмечавшего его край! С того места, где он стоял, просматривалось всё поле, и, оглядев эту пустыню, он улыбнулся слабой, горьковатой улыбкой. Он подумал о словах из древней книги Ездры: «*И приказал мне Ангел идти в пустынное поле, и поле было бесплодно и сухо, полно сухих трав, и называлось поле Ардаф. И там я бродил часами долгой ночью, и серебряные глаза поля раскрылись предо мною, и видел я знамения и чудеса*».

– Да, это поле поистине «*бесплодно и сухо*»! – пробормотал он рассеянно. – Но что касается «серебряных глаз» и «знамений и чудес», то они, должно быть, существовали только в набожном воображении пророка, точно как и увенчанная цветами ангелоподобная девушка – в моём. Что ж! Теперь, Теос Олвин, – продолжал он, обращаясь к самому себе вслух, – ты доволен? Вполне ли ты убедился в собственной глупости? И признаёшь ли ты, что прекрасный сон был столь же обманчивым, сколь и все прочие прекрасные на вид вещи, что не дают покоя и мучают несчастную природу человека? Возвращайся к своему прежнему состоянию рассудка и логическому скептицизму – ай, да даже и к атеизму, если угодно, поскольку материализм был прав! Нельзя доказать бытие Бога или возможность существование каких-то безгрешных форм духовной жизни. Так зачем же гнаться за призраком красоты? Слава, слава! Заслужи славу! Этого с тебя довольно в этом мире, а что касается мира иного, то кто сейчас верит в него? А даже веря, кого он волнует?

Разговаривая таким образом с самим собою, он направился на поле Ардаф, решив перейти его из конца в конец. Трава стояла длинная и сухая, однако не производила никакого хруста под его шагами – казалось, он был обут в волшебные ботинки тишины. Он шёл вперёд, пока не добрался до середины поля, где, заметив широкий плоский камень рядом, опустился на него отдохнуть. Поднимался лёгкий туман – прозрачный, окрашенный лунным светом пар, который медленно полз вверх от земли и повисал широкой, нежданно сплетённой кружевной паутиной, примерно в двух-трёх дюймах над землёй, придавая таким образом эффект влажной, светящейся прохлады разгорячённой и обезвоженной почве.

– Согласно апокрифу, Ездра «сел среди цветов», – размышлял он лениво. – Ладно! Вероятно, в те дни здесь и были цветы, однако очевидно, что сейчас их здесь нет. Более мрачного и пустынного места, чем это знаменитое поле Ардаф, я вообще никогда не видал!

В этот самый миг тонкий аромат заполнил неподвижный воздух – аромат, невероятно сладкий, словно фиалки смешались с миртом. Он вдохнул нежный запах, удивленный и смущённый.

– Неужели это цветы! – воскликнул он. – Или какие-то пахучие травы. – И он нагнулся, чтобы исследовать почву под ногами. К своему удивлению, он увидел толстый ковёр соцветий в форме звёзд с глянцевыми листьями и с ярко-золотистыми серединками, на которых крупные капли росы сверкали, словно бриллианты, и от которых исходил аромат, будто фимиам от невидимых алтарей! Он с недоверием смотрел на них почти

в ужасе. Неужели они реальны? Неужели это были те самые «серебряные глаза», в которых Ездра узрел «знамения и чудеса»? Или он опять безнадёжно свихнулся от обманов и снов?

Олвин несмело коснулся цветов: они были действительно живыми, с кремовыми лепестками, мягкими как бархат; он уже собирался сорвать один, когда вдруг его вниманием завладело нечто, подобное слабой тени, скользившей через равнину. Глухой вскрик сорвался с его губ, он вскочил и устремил жадный взор вперёд, отчасти надеясь, отчасти боясь. Что за лёгкая фигура это была, ступавшая медленно, торжественно и в одиночестве в свете луны? Не мешкая больше ни секунды, он нетерпеливо рванулся к ней навстречу, не заботясь о том, что на своём пути он топтал тысячи этих странных звёздных цветов, которые теперь, внезапно разросшись, покрыли и выбелили каждый дюйм земли, исполнив таким удивительным образом слова, высказанные в древности: «*Узри это поле, которое считал ты бесплодным, какую великую славу разоблачает луна!*».

Глава 10. Божья девица Идрис

Он стремительно промчался вперёд ещё несколько шагов, затем, приблизившись к мистической фигуре, он резко встрепенулся и остановился с упавшим сердцем, исполненным горечи и безудержного чувства разочарования. Здесь точно не было никакого ангела из невидимых сфер! Лишь девушка в парящих серых одеждах, нежно облегавших её стройную фигуру и развивавшихся позади неё при каждом степенном движении через белоснежные цветы, которые склонялись под её бесшумной поступью. Он напрочь позабыл о чудесной цветочной метаморфозе ранее бесплодной земли – всё его внимание занимала теперь стройная, изящная фигура таинственной девушки. Она тем временем продолжала идти, пока не достигла западной границы поля, там она повернулась, задержалась на мгновение и затем направилась обратно, прямо к нему. Он наблюдал за её приближением так, словно она являла собой воплощение невидимой судьбы, и от страха у него тряслись руки, когда она подходила всё ближе и ближе! Теперь он уже отчётливо её видел – всё, кроме лица, которое скрывалось в тени, ибо голова её была наклонена и глаза опущены. Её длинные красивые волосы струились вьющимися локонами по плечам; она носила венок из цветов поля Ардаф и несла букет из них в своих маленьких, изящной формы ручках. Ещё несколько шагов – и она уже рядом, остановилась, словно в ожидании какого-то слова или знака, но он стоял молча и неподвижно, не смея ни заговорить, ни пошевелиться. Тогда, не поднимая взгляда, она прошла мимо – прошла, как лёгкая дымка, а он всё продолжал стоять, словно приросший к земле, в каком-то смутном, немом удивлении! Замешательство его, однако, было кратким: приняв мгновенное решение, он поспешил вслед за ней.

– Постой! Постой! – закричал он громко.

Подчиняясь его зову, она замерла, но не повернулась. Он поравнялся с нею, схватил её одежды, мягкие как шёлк на ощупь, и, сражённый внезапным чувством трепета и благоговения, он пал на колени.

– Кто и что ты такое? – залепетал он трясущимся голосом. – Скажи мне! Если ты смертная девушка, то я не причиню тебе вреда, клянусь! Знаешь, я всего лишь бедный, свихнувшийся глупец, влюблённый в мечту, который сделал ставку на собственную жизнь волею небес, сжалься надо мною! Но только не бойся меня, только говори!

Ответа не было. Он поднял взгляд и теперь увидел в свете

луны её лик. Каким похожим и одновременно иным он был в сравнении с лицом ангела из его видения! Потому что то эфирное создание казалось ослепительно, сверхъестественно прекрасным по сравнению со всеми смертными описаниями, в то время как эта девушка была просто симпатичной, маленькой и изящной, с немного задумчивыми и печальными линиями нежных губ и тенью как бы печальных воспоминаний, дремавшей в глубине её безмятежного голубиного взгляда. Её хрупкая фигура устало поникла, будто она была утомлена каким-то долгим мучением, и всё же, глядя на него сверху вниз, она улыбнулась, и в этой улыбке сверкнуло слабое подобие его духовного идеала, как луч солнца, хоть оно и исчезло снова так же быстро, как появилось. Он страстно жаждал услышать её голос, ждал с каким-то бездыханным беспокойством, но, поскольку она продолжала молчать, он подпрыгнул с колен и схватил её руки. Какими мягкими и тёплыми они были! Он сжал их своими ладонями и притянул её ближе; букет цветов выпал из её рук и лежал увядшим ароматным ворохом между ними. Мозг его закружился: прошлое и будущее, реальность и выдумка, конечное и бесконечное – казалось, всё смешалось вместе, стерев все границы и пределы!

– Странным образом мы встретились, ты и я! – сказал он, едва сознавая свои слова. – Ты не скажешь мне своего имени?

Лёгкий вздох вырвался из её груди.

– Моё имя Идрис, – ответила она тихим, мелодичным голосом, который донёс до его слуха намёк на нечто приятное и знакомое.

– Идрис! – повторил он. – Идрис! – И, не спуская с неё мечтательного взгляда, он поднял её руки к губам и нежно поцеловал. – Моя прекрасная Идрис! Откуда ты пришла?

Она встретила его взгляд с упрёком и удивлением.

– Из далёкой-далёкой страны, Теос! – и он вздрогнул, когда она так назвала его. – Из той земли, где любовь не исчезает и обещание не забывается!

И снова этот таинственный свет промелькнул по её бледному лику, цветочная корона на миг, казалось, вспыхнула диадемой из звёзд. Сердце его быстро забилось – мог ли он ей поверить? Была ли она действительно той сияющей пери[7], чья эфирная красота так долго преследовала его воображение? Нет! Невозможно! Ведь если это она, то зачем бы ей скрывать свою природную красоту под маской такой обычной девушки?

Он испытующе вглядывался в каждую чёрточку её лица, и его сомнения по поводу духовного происхождения девушки всё более и более укреплялись. Она была живой, дышащей женщиной –

обычным существом из плоти и крови, но как же тогда она появилась на поле Ардаф? Этот вопрос мучил его, пока вдруг логическое объяснение всей тайны не осенило его разум. Гелиобаз прислал её сюда специально, чтобы встретиться с ним! Ну конечно же! Каким же слепцом он был прежде, не видя столь прозрачной схемы! Хитрый халдей решил, что он, Теос Олвин, примет свой транс за реально пережитый опыт, так что вера в «вещи незримые и вечные» должна укрепиться. Многие теоретики психологии поддержали бы подобный обман как не только допустимый, но даже и достойный похвалы, если его используют в добрых намерениях. Даже почтенный затворник Эльзир, должно быть, сыграл свою роль в этом заговоре, и эта «Идрис», как она себя называет, несомненно, была отлично вышколена для своей роли! Целый план ради этого разговора! Что ж, он сыграет в нём свою роль, решился он! Почему бы и нет? Девушка чрезвычайно хороша – подлинный дух очарования! И небольшое любовное приключение под луной вреда не сделает. Тут он вдруг понял, что, пока все эти мысли проносились в его голове, он неосознанно позволил её рукам выскользнуть из своего пожатия, и теперь она стояла, отстранившись на небольшое расстояние, остановив на нём свой взгляд, исполненный самого искреннего сожаления. Он поспешно шагнул к ней, и тогда кровь его вскипела от ощущения необычайного удовольствия – удовольствия острого, почти до боли.

– Идрис! – прошептал он. – Идрис… – и замер в нерешительности.

Она взглянула на него с печальной задумчивостью потерянного и страдающего ребёнка, и лёгкая дрожь пробежала по всей её нежной фигурке.

– Мне холодно, Теос! – прошептала она с мольбой, снова протягивая к нему ручки – прекрасные, словно лепестки лилии ручки, на которые он удивлённо смотрел, но не взял. – Холодно, и я очень устала! Путь мой был долог, а земля темна!

– Темна? – повторил Олвин механически, всё ещё занятый подозрительным созерцанием её прелестной податливой фигуры, её нежного приподнятого лица и сверкающих золотом волос. – Темна? Здесь? При свете яркой луны? Нет, я видел много дней, что были темнее сегодняшней звёздной ночи!

Глаза её остановились на нём с определённо жалостливым удивлением, она устало уронила протянутые руки, и тень печального воспоминания перечеркнула красоту её лица.

– Ах, я и забыла, – глубоко вздохнула она, – о том, что этот странный, печальный мир называет светом тьму.

Мгновенная дрожь потрясла Олвина при этих словах. Он

смотрел на неё в замешательстве и начал считать, что раз уж эта девушка, столь хорошо усвоившая таинственные речи и манеры, была явно отправлена на эту встречу с ним, то его едва ли можно винить в том, что он примет её слова за истину и насладится полным правдоподобием этого романа и необычайностью приключения.

Глаза его сверкали, когда он смотрел на неё, стоявшую пред ним, столь беззащитную и всю во власти его милосердия; его прежняя ленивая, скептическая улыбка заиграла на гордых губах – та самая улыбка мраморного изваяния Антиноя, сказавшего: «Поставьте меня пред лицом Истины – и я всё-таки не отброшу сомнений!» Выражение невольного восхищения и пробуждающихся страстей омрачило его лицо, он хотел что-то сказать, но она, глядя на него пристальным, наблюдательным, страстным взглядом, вдруг заломила руки в отчаянии и издала болезненный, рыдающий крик, поразивший его в самое сердце.

– Теос! Теос! О мой неверный возлюбленный! Что могу я сделать для тебя! Любовь, которой ты не видишь, не будет понята тобой; любви, которой ты противишься, ты не признаешь! Увы! Мой путь был напрасен, затея моя – безнадёжной! Ибо пока твоё неверие противится моей мольбе, как я могу увести тебя от опасности? Как перекинуть мост через пропасть между нашими душами? Как заслужить для тебя прощение и благословение у Царя Христа!

Слёзы стремительно хлынули из её глаз, и Олвин, устыдившись, подскочил к ней в раскаянии.

– Ты плачешь из-за меня? – воскликнул он. – Милая Идрис, не трать слёз на недостойного, а лучше улыбнись и снова говори о любви! И мелодия твоего голоса станет моим евангелием, взгляд твоих мягких глаз – моей верой, а что касается прощения и благословения, то мне не нужно иного, кроме твоего! Любовь – мой единственный бог, и кто усомнится в его могуществе и не воздаст ему достойного поклонения? Вместе мы отслужим прекрасную мессу любви, и сами небеса нарекут этот день днём Святой Идрис и всех ангелов!

Она слушала, опустив взгляд, слёзы её высохли, и неожиданная надежда осветила лицо. Когда он замолчал, она заговорила чистым мелодичным голосом:

– Да будет так! Пусть небеса поистине осветят все чистые мысли и освободят душу моего возлюбленного от греха!

И, медленно приблизившись, словно нежный цветок ириса на ветру, она положила руки на его шею и коснулась губами его губ. Какой неописуемый экстаз охватил его тогда! Он обхватил её за талию и склонился к ней, позабыв обо всём, кроме того, что вся

её красота принадлежала наконец ему этой ночью, – ночью, которая в своём безмолвном, прекрасном бреду любви завладела им и казалась, словно мусульманская ночь Аль-Кадр, «лучше тысячи месяцев»!

Как вдруг холодная дрожь заморозила кровь в его венах: что-то леденящее и неощутимое, казалось, прошло меж их ласковых объятий; губы его онемели и отяжелели, зрение начало подводить. Он утопал, тонул, когда вдруг она вырвалась из его объятий. И немедленно силы резко вернулись к нему, он выпрямился, едва дыша, оглушённый и смущённый, сердце молотком стучало в каждом фибре его тела, дрожавшего от возбуждения. Он хотел вновь заключить её в объятия, но она, стоя в нескольких шагах, жестом запретила ему приближаться. Он едва заметил это, отчаянно рванувшись к ней, когда, к своему удивлению и ужасу, не смог сделать и шага! Натолкнувшись на некую невидимую преграду, он не мог коснуться её! Очевидно, ничто не разделяло их, кроме узкой полосы поля Ардаф, ярко сверкавшей цветом слоновой кости в свете луны, однако эта незримая сила оттолкнула его и крепко удерживала, словно железной цепью!

– Идрис! – громко позвал он в отчаянии. – Идрис! Приди ко мне! Я не могу приблизиться! Что-то нас разделяет!

– Смерть! – отвечала она, и торжественное слово, казалось, медленно прозвонило в неподвижном воздухе, как колокол.

Он стоял в смятении и удивлении. Смерть! Что это значит?

– Смерть лежит между нами! Одна тёмная линия, лишь одна! Но ты не можешь её преодолеть, пока не прикажет тебе Господь! И я не могу! Ибо я ничего не знаю о смерти, кроме того, что это тяжкий сон без сновидений, отведённый слишком уставшим смертным, в котором они находят краткое отдохновение промеж множества жизней – жизней, которые, словно повторяющиеся зори, вновь призывают их к трудам. Как же часто засыпал ты так, мой Теос, и забывал меня!

Она замолчала; Олвин ясно ощущал бурную лихорадку любви, которая разгоралась внутри него в её присутствии, однако он всё равно не мог освободиться от мысли о том, что она была сообщницей Гелиобаза и поэтому тоже обладала некой гипнотической силой, которая не только влекла его к ней, но и держала в оцепенении и на расстоянии.

– Ты проживал одну жизнь за другой, – продолжала она, – не думая обо мне, но я помнила и хранила верность! Рай – не рай для меня без тебя, мой возлюбленный! А сейчас в своей последней попытке, если ты действительно меня любишь…

– Люблю тебя, Идрис? – воскликнул вдруг Теос. – Ах! Я

люблю тебя всем сердцем! Зачем ты говоришь о Рае? Рай здесь – здесь, на этом свадебном поле Ардаф под балдахином из звёзд! Довольно игр для этой таинственной ночи – хватит с меня снов! Идрис, будь собою! К чему бежать от меня? Я сделаю тебя королевой, прекрасная Идрис, как и всегда поэты делают королевами тех женщин, которых любят! Моя слава станет твоей короной – короной, которой позавидует весь мир!

И в пылу горящей сиюминутной страсти, позабыв о невидимой преграде, он отчаянно рванулся вперёд, когда вдруг – раз! – волна струящегося света ударила из-под её ног. Она прокатилась к нему и совершенно заполнила пространство между ними сверкающим потоком, и внутри неё цветы поля Ардаф закачались из стороны в сторону, как кувшинки на лесном озере раскачиваются от прикосновения весёл проплывающей лодки! Отскочив назад с криком ужаса, он дико смотрел на это чудо, и голос, прекраснее, чем любая музыка, зазвучал звонким серебром среди расплавленного сияния.

– Слава! – проговорил голос. – Не коронуешь ли ты Меня, Теос, столь бренным венцом?

Оглушённый и безмолвный, он поднял напряжённый взгляд: была ли это Идрис? Эта горящая фигура, изящная, как морской туман, сквозь который просвечивает солнце? Он смотрел на неё, как умирающий мог бы смотреть в последний раз на самого близкого и дорогого человека. Он видел, как её мягкие серые одежды сменились сверкающей белизной, её венец вспыхнул, словно миллионы капель росы, розоватый нимб окутал её, длинные алые полосы устремились с небес огненными нитями, и, в своей совершенной красоте, её лик, божественно прекрасный, но сильно печальный, выражал трогательную надежду и страх той, которая оглашает прощальную просьбу. Боже! Теперь он узнал её, но слишком поздно! Ангел из его видения стоял перед ним! И, поверженный в самые глубины отчаяния, он проклинал себя за ничтожество и маловерие!

– О, неверный и несчастный! – продолжала она нежным голосом. – Ты потерян во мраке Печальной Звезды, где о жизни не знают ничего, кроме одной лишь её тени! Потерян, и я не могу тебя спасти! Несчастная я Идрис, покинутая в одиночестве Рая! Но молитвы услышаны, и безграничное терпение Божье никогда не истощается, поэтому знай: на ошибках прошлого познаешь ты опасности будущего! И бессмертная любовь важнее земной славы!

Всё шире и ослепительнее становился блеск, окружавший её, подняв глаза, она сложила руки в мольбе.

– О Царь Христос! Ты способен победить всё! – порыв музыки был ей ответом – музыки, которая прорвалась, словно ветер,

и пронеслась сильным дрожащим хором над землёй: снова это «Смилуйся Господи! Смилуйся Христе! Смилуйся Господи!» – прозвенели те же молодые голоса таинственного хора. И отдельные алые лучи, сверкающей авророй окутывавшие её фигуру, вдруг сплелись вместе в форме великого креста, который, поглощая лунный и звёздный свет своей пылающей краснотой, вспыхнул через весь восточный горизонт!

Затем, словно прекрасный белый голубь или нежная бабочка, она вознеслась. Она проплыла над клонящимися цветами Ардафа, поднимаясь всё выше и выше, пока не утонула в свете того чудесного пламенного креста, чьи простиравшиеся лучи, казалось, ждали, чтобы принять её; она ускользнула прямо вверх, в самый их центр, и там исчезла!

Теос неотрывно глядел в темнеющее небо – куда она ушла? Слова её всё ещё звучали в его ушах, тепло её поцелуя горело на губах – он любил её! Он её боготворил! Почему же она оставила его «потерянным», как сказала сама, в этом мире, что был лишь пустотою без неё? Он попытался заговорить:

– Идрис! – хрипло зашептал он. – Идрис! Мой ангел любви! Вернись! Прошу, вернись! Прости, Идрис!

Голос его потонул в жестоком порыве неудержимых рыданий; сражённого до глубины души раскаянием, бóльшим, чем мог перенести, силы оставили его, и он повалился без чувств лицом прямо на цветы поля пророка; и эти цветы, что окружали снежной белизной его тёмную распростёртую фигуру, выглядели как прекрасные венки на могиле Поэта!

Часть 2. В Аль-Кирисе

«Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, – и Бог воззовёт прошедшее».

Книга Екклезиаста

Глава 11. Удивительный город

Глубокая тишина, глубокая бессознательность, живительный покой! Таковы успокаивающие инструменты заботливой природы для перегруженной души; природа, в своей нежной мудрости и материнской заботе, не позволяет нам страдать свыше определённого предела. Чрезмерная боль, будь она физической или нравственной, не может длиться долго, и человеческое страдание, достигая своего крайнего предела, встречает на самом пике своего отчаяния странное, молчаливое, дарующее забвение успокоение. Именно так и произошло с Теосом Олвином: погружённый в глубокое забытье милосердного обморока, он покинул пределы жизни и унёсся далеко за грани чувства времени каким-то широким беззвучным потоком теней, где земля и небо были равно забыты!

Как долго он пролежал таким образом, он никогда не узнал, но наконец он вернулся – вернулся от прикосновения чего-то холодного и острого к горлу и, лениво открыв глаза, обнаружил, что его окружил маленький отряд вооружённых людей, которые, опираясь на длинные копья, сверкавшие в лучах солнца, оглядывали его с насмешливым удивлением. Один из них, стоявший ближе остальных и выделявшийся своей одеждой и поведением как командующий офицер, держал вместо копья короткий меч, прикосновение чьего острия и стало эффективным способом пробуждения его от летаргии.

– Отвечай! – гаркнул этот персонаж грубым голосом, убирая оружие. – Ты ещё что за бездельник? Предатель или шпион? Ты, должно быть, дурак и нарушитель королевского указа, иначе никогда не посмел бы валяться в такой свинской лени за воротами Аль-Кириса Прекрасного!

Аль-Кирис Прекрасный! О чём говорил этот человек? Издав торопливое восклицание, Олвин с усилием поднялся на ноги и, прикрывая глаза от палящего солнца, дико уставился на своего собеседника.

– Что… что такое? – бормотал он смутно. – Я вас не понимаю! Я… я заснул на поле Ардаф!

Солдаты разразились громким смехом, к которому присоединился и их командир.

– Ты здорово надрался, друг мой! – заметил он, засунув меч с резким лязгом в его сверкающие ножны. – Как ты сказал? Ардаф? Нам это название не известно, как и тебе, ручаюсь, когда ты трезв! Беги домой быстренько! Ай-ай! Аромат доброго вина ещё стоит у меня во рту: такая приятная сладость, к которой я

и сам неравнодушен, так что могу простить тех, кто, как и ты, любит его слишком сильно! Убирайся! И благодари Бога, что попался на глаза королевской охране, а не жреческому патрулю Лизии! Смотри, ворота открыты – заходи и остуди голову в первом же фонтане!

– Ворота? Какие ворота?

Опустив руку, Олвин озадаченно оглянулся. Он стоял на ровном участке дороги, белоснежно-пыльной и иссушенной жарою, и прямо напротив него была огромной высоты стена с рядами торчащих железных пиков наверху, которую стерегли упомянутые ворота; огромные, массивные двери, очевидно, были отлиты из добротной меди и украшены с обеих сторон толстыми, круглыми дозорными башнями из камня, а на их верхушках обвисли алые стяги, поникшие в неподвижном воздухе. Поражённый и исполненный смутного, трепетного ужаса, он снова посмотрел на своих странных собеседников, которые, в свою очередь, поглядывали на него с холодным военным безразличием.

«Я, должно быть, сошёл с ума или сплю», – подумал он и тут же простёр руки в отчаянном жесте и дико взмолился:

– Клянусь, я ничего не знаю об этом месте! Никогда прежде его ни видал! Со мной случился какой-то обман! Кто привёз меня сюда? Отшельник Эльзир? Развалины Вавилона? Где же?.. Боже! Боже! что это за уродливые игры судьбы!

Солдаты вновь рассмеялись, их командир поглядел на Олвина с долей любопытства.

– Эй, а ты случайно не из числа тех сбежавших любовников Лизии? – спросил он с подозрением. – И не Серебряный ли Нектар изменил своему обычному действию, развеяв твои чувства по ветру, что ты так бредишь? Ведь если ты чужестранец и ничего о нас не знаешь, то как же говоришь на нашем языке? И почему одет, как наш горожанин?

Олвин сжался и задрожал, как если бы получил смертельный удар, ужасающий, непередаваемый ледяной страх заморозил его кровь. Это было правдой! Он понимал язык, на котором с ним говорили! Он был ему в совершенстве знаком – даже лучше, чем его родной язык! Стоп! А каковым же был его родной язык?

Он попытался думать – и чувство страха в его сердце ещё более окрепло: он не мог вспомнить ни единого слова! А его одежда! Он смотрел на неё в смятении и с ужасом – прежде он этого не замечал. В ней имелось некое сходство с нарядом из древней Греции, и состояла она из белой льняной туники и свободного жилета поверх, обе части одежды удерживал вместе пояс из серебра. Из-за этого пояса торчал кинжал в ножнах,

квадратная табличка для письма и приспособление в форме карандаша, в котором он немедленно узнал античную форму стилуса. Ноги обуты были в сандалии, руки по плечи голые и в верхней части схватывались двумя широкими серебряными нарукавниками богатого вида.

Отмечая все эти подробности, фантастический ужас всего положения окутал его с удвоенной силой, и он почувствовал себя так, как мог бы чувствовать себя сумасшедший, когда его надвигающееся безумие ещё не окончательно проявилось; когда ещё только гротескные и косвенные намёки смущают его разум; когда отвратительные лики, смутно проглядывающие, выплывают из хаоса его ночных видений; и когда сам воздух кажется плотной тьмой с единственной белой полосой огня, разрывающей его посередине, – и это огонь его собственного приближающегося безумия. Такой агонизирующий бред овладел Олвином в тот момент, что он мог бы съёжиться, рассмеяться, завыть, зарыдать и повалиться наземь в пыль перед этими бородатыми вооружёнными людьми, умоляя пронзить его их оружием на месте и милосердно и сразу же избавить от этого мистического отчаяния. Однако невидимая сила, превосходившая его собственную, удержала его от того, чтобы пасть жертвой мучительных переживаний, и он продолжал стоять прямо и спокойно, как мраморное изваяние, с удивлённым, бледным, жалобным лицом, выражавшим такую неописуемую скорбь, что один офицер, казалось, был тронут и, приблизившись, дружески хлопнул его по плечу.

– Идём! Идём! – сказал он. – Тебе нечего бояться – мы не из тех, кто донесёт на твоё нарушение городского указа, ибо, по правде, сегодня слишком много слухов бродит о молодых и добрых ребятах. Так что ты не первый весёлый любовник и не последний, видевший, как мир перевернулся верх тормашками в безумии любви и ночных пиров! Если ты недостаточно выспался, то проспись как следует, но только не здесь…

Он резко замолчал – послышался отдалённый цокот лошадиных копыт, словно неслись на полной скорости. Солдаты вздрогнули и напряглись, их командир пробормотал какое-то проклятие и, схватив Олвина за руку, поспешно подтолкнул его к медным воротам, которые, как он сказал, стояли распахнутыми и буквально призывали его войти.

– Внутрь, внутрь, парень! – выкрикнул он с грубым добродушием. – Лицо твоё прекраснее, чем у королевского менестреля, так зачем же тебе погибать по вине одной лишней кружки вина? Если это Лизия виной твоего рассеяния ума, то

берегись и больше не показывайся рядом с нею: опасно играть с ядовитой змеёй! Убирайся отсюда поскорее и радуйся жизни, у тебя впереди ещё много лет для любовных игр и подобных глупостей!

И с этими таинственными словами он подал знак своим людям следовать за ним, все они прошли через ворота, которые захлопнулись за их спинами с железным лязгом; мрачное бородатое лицо выглянуло наружу через узкое окошко одной из дозорных башен, и низкий голос позвал:

– Что за час?

Офицер поднял руку в перчатке и быстро отвечал:

– Мир и безопасность!

– Приветствую! – снова прокричал голос.

– Приветствую! – ответил офицер и, ободряюще кивнув Олвину и подарив ему улыбку, он провёл свою небольшую команду вокруг него, и все они удалились со смешанным грохотом шагов, выбивавших металлическую музыку, свернув за угол и исчезнув из поля зрения.

Оставшись в одиночестве, первой идеей Олвина было забиться в какой-нибудь тихий уголок и спокойно попытаться понять, что за странная и жестокая вещь с ним произошла. Но, случайно подняв взгляд наверх, он заметил бородатое лицо на башне, наблюдавшее за ним с подозрением, поэтому он заставил себя спокойно зашагать прочь, вперёд и вперёд, едва сознавая, куда шёл, пока полностью не потерял из виду эти огромные, сверкающие золотом ворота, запершие его против воли внутри стен большого, великолепного населённого города. Да, он был безнадёжно растерян и сходил с ума, в чём не было сомнений, и, хотя он снова и снова пытался убедить себя в том, что находился под неким исключительно сильным галлюциногеном, все чувства его свидетельствовали о полной реальности происходящего: он чувствовал, он двигался, он слышал, он видел, он даже начинал ощущать голод, жажду и усталость.

Чем дальше он шёл, тем более впечатляющими становились окрестности. Его никем не направляемые ноги двигались, как казалось, по собственному усмотрению по широким улицам, полностью выложенным мозаикой и с обеих сторон ограниченными высокими, живописными, подобными дворцам зданиями; он переходил с одной стороны бульваров на другую под сенью высоких, пушистых пальм и множества великолепных цветущих растений; он миновал, ряд за рядом, прекрасные лавки, чьи витрины сверкали самыми дорогими и великолепными одеждами всех видов; и когда он бесцельно блуждал вокруг,

не зная, куда идти, то постоянно находился в толчее людей, которые наводняли улицы и все были исполнены радости, судя по оживлённым лицам и частым взрывам смеха.

Мужчины по большей части были одеты, как и он, хотя то и дело встречались некоторые, чьи наряды были из шёлка, а не из льна, кто носил золотые пояса вместо серебряных и кто держал кинжал в ножнах, буквально усыпанных драгоценными камнями.

По мере того как он углублялся в центр города, толпа уплотнялась, так что шум транспорта и многоголосый гомон становились почти оглушительными для его слуха. Богато украшенные кареты, запряжённые прекрасными лошадьми и направляемые персонажами, чьи наряды, казалось, прямо-таки горели золотом и драгоценностями, прокатывались бесконечной процессией; продавцы фруктов, тащившие свои великолепные, сочные товары в огромных позолоченных, сплетённых из мха корзинах, стояли почти на каждом углу; девушки-цветочницы, прекрасные, как их цветы, высоко поднимали изящными руками широкие плетёные подносы, переполненные ароматными цветами, увязанными в букеты и венки; и там двигалось бесчисленное множество необычных маленьких квадратных тележек, в которые были запряжены мулы с колокольчиками на ошейниках, и их непрестанный перезвон при движении через толпу создавал неумолчную весёлую музыку. Транспортные средства носили имена торговцев, поставщиков вин и всех возможных видов продуктов, но, за исключением этих столь необходимых дельцов, улицы наводняли ещё и элегантные бездельники обоих полов, которым, казалось, нечем было заняться, кроме развлечений.

Женщины особенно выделялись ленивой грацией манер: они скользили тут и там с беспечной, парящей, непередаваемо привлекательной лёгкостью; более того, многие из них обладали исключительной красотой тела и лица – красотой, которую значительно усиливала художественная простота их наряда. Он состоял из прямого, узкого платья, туго собранного под горлом и стянутого в талии переплетённым поясом из серебра, золота и иногда драгоценностей; руки, подобно мужчинам, были обнажены, и маленькие изящные ступни защищали сандалии, завязанные перекрещивающимися, кокетливо завязанными лентами. Причёска, очевидно, отдавалась на волю вкуса, а не рабского копирования моды; некоторые женщины просто позволяли волосам свободно струиться по плечам; другие туго заплетали их или небрежно связывали в толстый узел на макушке; но все без исключения носили белые головные

уборы: платки длинные, прозрачные и тонкие, как кашемир, которые они отбрасывали назад или с радостью заворачивались в них. И вскоре, при виде нескольких таких прекрасных созданий, проходивших мимо с тихим смехом и нежными голосами, внезапное воспоминание всплыло в смущённом мозге Олвина: старое-старое воспоминание, которое, казалось, лежало погребённым среди его мыслей веками; воспоминание об истории под названием «Ламия», написанной в стихах, столь же прекрасных, сколь и умело сыгранная мелодия. Кто же написал эту историю? Он не мог бы сказать, но вспомнил, что в ней говорилось о змее в образе красивой женщины. И женщины в этом странном городе выглядели так, словно они тоже имели змеиное происхождение: было нечто столь же мягкое, и гибкое, и струящееся в их движениях и жестах. Устав от ходьбы, обезумев от всевозрастающего шума и чувствуя себя потерянным в толпе, он, наконец, заметил широкую великолепную площадь, окружённую удивительно статными зданиями, а в её центре находился огромный белый гранитный обелиск, возвышавшийся белоснежной колонной на фоне глубокой синевы небес. У её подножия громоздкий скульптурный лев, тоже из белого гранита, лениво возлежал, зажав между лап щит; и по обеим сторонам играли два красивых фонтана: изящные спиралевидные колонны воды взмывали вверх, выше даже самой вершины обелиска, так что его каменный лик был мокрым и блестящим от радужных брызг.

Здесь он свернул в сторону с основной улицы, повсюду его окружали высокие, тенистые деревья и под ними скамейки с фантастической резьбой; Олвин решил присесть отдохнуть и не спеша обдумать своё возбуждённое и необычайное состояние рассудка.

Когда он проходил мимо скульптурного изваяния льва, то заметил чёткие слова, выбитые на щите в его лапах: «Львом и змеёю расцветёт Аль-Кирис».

Не было никаких затруднений в понимании этого предложения: Олвин мог прочесть его ясно и чётко, но всё-таки на каком языке оно было написано и откуда он известен ему столь хорошо? Со вздохом, что вырвался почти стоном, он апатично опустился на скамью и, уронив голову на руки, чтобы отгородиться от всех странных видений, которые столь сильно терзали его разум, он начал подвергать себя терпеливому, серьёзному изучению.

Во-первых, кто он такой? Первая часть ответа на этот вопрос пришла незамедлительно: Теос. Теос кто? Мозг его отказывался уточнять, а лишь повторял «Теос, Теос» снова и снова, но более

ничего!

Содрогнувшись от смутного ужаса, он спрашивал себя дальше: откуда я пришёл? Ответ последовал прямой и решительный: с Ардафа. Но что такое «Ардаф»? Это была не страна и не город, а пустое поле, на котором он увидел… Ах! кого же он увидел? Он яростно сражался с самим собой за некий ответ на этот вопрос, но его не было! Тотальная молчаливая темнота стала единственным результатом внутреннего напряжения, которому он подвергал свои мысли!

И где же он был прежде поля Ардаф? Неужели он совсем ничего не помнил о других местах? Абсолютно ничего! Мучайся сколько угодно – абсолютно ничего! Это было пугающе, невероятно! «Несомненно, несомненно, – рассуждал он в отчаянии, – должно же было быть что-то в его прошлой жизни, прежде чем название „Ардаф“ поглотило его разум!»

Он поднял голову; лицо его посерело, как пепел, и застыло в выражении глубокой неизбывности немого замешательства и ужаса; в сердце его появилась болезненная слабость, и, поднявшись, он неуверенно двинулся к одному из огромных фонтанов и там, погрузив руки в брызги, спрыснул несколько капель на лоб и глаза. Затем, сложив ладони чашей, он жадно выпил несколько глотков прохладной, сладкой воды, которая, казалось, ослабила лихорадку в его крови.

Он огляделся по сторонам с дикой, неоднозначной улыбкой: Аль-Кирис! Конечно же! Он был в Аль-Кирисе! Отчего же его это так смутило? То был приятный город, много чего можно посмотреть, а также многому научиться! В тот самый момент громкий призыв серебряноголосой трубы разорвал воздух, за которым последовал штормовой рёв отдалённых криков, вырывавшихся из тысячи глоток; толпа мужчин и женщин вдруг хлынула на площадь, пронеслась через неё и умчалась прочь, безудержно устремившись в одном направлении; и, следуя за всеобщим потоком на ответном внутреннем импульсе, Олвин выкинул из головы все рассуждения и отчаянно рванулся в гущу кричащей, всеохватывающей толпы. Его стремительно понесло вниз по широкой улице с огромными старыми деревьями, украшенной развевающимися флагами и транспарантами, в сторону набережной благородной реки, такой спокойной, будто расплавленный янтарь в жестоком сиянии пламени полуденного солнца. Мраморная набережная, украшенная колоссальными статуями, обрамлявшими её с обеих сторон, была великолепна; и здесь, под шёлковыми тентами всех цветов и видов, собиралась гигантская толпа; её одетые в белое, плотно зажатые ряды простирались в далёкую голубую даль в обе стороны.

Всё внимание этого моря людей сосредоточилось на медленно приближавшемся, странном, золотистом корабле с огромным изогнутым носом и алыми парусами, вяло полоскавшимися от слабого бриза, который лениво и нереально скользил через лазурное пламя гладкой воды. Огромные вёсла, как золотые плавники, выступали по бокам и то и дело лениво опускались, управляемые, очевидно, руками невидимых гребцов, чьи объединённые усилия восполняли недостаток необходимости в ветре; и, как только Теос уловил взглядом эту огромную, громоздкую галеру, в нём проснулся внезапный интерес. Решительно прокладывая себе путь локтями сквозь плотную толпу, пока не достиг края набережной, Олвин прильнул к мраморной балюстраде, откуда и наблюдал с любопытством за постепенным приближением корабля.

Всё ближе и ближе он был, ярче и ярче разгорался живой алый цвет парусов, торжественные ноты струнной музыки очаровательно разносились над зеркальной поверхностью реки, смешиваясь с дикими криками толпы, – с криками, которые, казалось, терзали самый свод небес! Ближе, ближе – и вот корабль подползает и встречает бушующую толпу, как сверкающее, сказочное явление из грёз! Теос смотрел на него, ослеплённый и поражённый, с бездыханным восторгом. Золотые портьеры, ниспадавшие богатыми, волнистыми складками, великолепно драпировали корабль от носа до кормы; золотые канаты обвивали паруса; на палубе группа молоденьких девочек в белом и с цветочными венками стояла на коленях и мягко играла на причудливой формы музыкальных инструментах; и группа опрятных, полураздетых мальчишек, прекрасных, словно купидоны, собралась в милых расслабленных позах вдоль края позолоченного носа, держа в руках гирлянды из красных и жёлтых цветов, которые тянулись за кораблём по поверхности воды.

Как полусонный человек замечает внезапный бриллиантовый блеск рассвета, загоревшийся на стене его спальни, так и Теос вначале глядел на этого парящего голубя со смущением, удивлением, непониманием. Как вдруг сразу же все его одурманенные чувства вспыхнули горячей жизнью и порывистым движением; задохнувшись восторгом в крике, его страстный, жадный взгляд остановился на главной прекрасной фигуре – сосредоточии красоты всей чудесной картинки! Женщина или богиня? Радужное пламя в смертном обличии? Дух земли, воздуха, огня или воды? Одетая в золотое и с золотыми украшениями, стояла она, лениво опираясь на среднюю мачту корабля, а её огромные, тёмные с паволокой глаза мрачно

глядели на волнующиеся массы людей, чей неистовый рёв выражал восторг и восхищение, звучал, как штормовые волны.

И тогда с неспешной, торжественной улыбкой на прекрасно изогнутых губах, она протянула белоснежную руку, сверкавшую украшениями, и властным жестом призвала к тишине. Немедленно воцарилось глубокое молчание. Подняв длинный, тонкий белый скипетр, на конце которого ясно виднелась горящая серебром голова змеи, она описала три круга в воздухе отточенным, почти магическим движением, и при этом взгляд её чудесных глаз обратился к Теосу и неподвижно остановился на нём.

Он с готовностью встретил этот взгляд, растворившись всей душой в её магнетической красоте; он видел, не осознавая, что всё огромное множество людей вокруг него пало ниц, выражая благоговение, а он всё стоял прямо, упиваясь взглядом этих тёмных, чарующих глаз, что сверкали в его сторону полуобиженно, полунасмешливо. И тогда обременённый красотою корабль медленно покачнулся и двинулся вперёд; она – эта удивительная королева-сирена – исчезала, исчезала! Она и её коленопреклонные слуги, музыка и цветы – исчезали! Куда?

Испуганный, он подпрыгнул со своего наблюдательного места: он чувствовал, что должен был следовать за нею, несмотря ни на что, он должен узнать, где она живёт, где её дом, её положение, титул, имя! Немедленно он оказался грубо схваченным дюжиной рук, громкие, злобные голоса кричали со всех сторон:

– Предатель! Предатель! Неверный!

– Шпион!

– Недовольный!

– В реку его!

– Он отказывается поклониться!

– Он отрицает богов!

– Отдать его под суд!

И моментально его полностью окружила и зажала озлобленная, жестикулирующая толпа, чьи зловещие взгляды и возмущённое бормотание ясно выдавали враждебность. Несколькими проворными движениями ему удалось высвободиться из захвата нападавших, и, стоя среди них, как загнанный олень, он вскричал:

– Что я сделал? Чем я вас обидел? Говорите! Или в обычае Аль-Кириса осуждать человека, не выслушав?

Никто ему не ответил; прямота его слов, казалось, подстегнула возмущение толпы, что сжималась всё плотнее и плотнее и начинала уже угрожающе толкать и теснить его,

не предвещая ничего хорошего; его снова схватили, как узника, и в борьбе со своими обидчиками он приготовился сражаться за жизнь до конца против всеобщей ярости, когда внезапно звук музыкальных струн беспечно пронёсся по воздуху, мягко ворвавшись в этот гам. Юноша в алых одеждах и с маленькой золотой арфой в руках спокойно двигался сквозь плотные ряды людей, которые расступались вправо и влево перед ним; таким образом он расчищал путь для другого человека, шедшего следом: для прекрасного, как Адонис, мужчины в белоснежном одеянии и с венком из мирта на тёмных, пышных волосах, которого толпа, позабыв на мгновение о своём недавнем возмущении, приветствовала звучными, восторженными выкриками:

– Радуйся! Сах-Лума!

Снова и снова звучал этот крик, и вдали, за крайними пределами толпы, радостное эхо слабо, но отчётливо вторило:

– Радуйся! Радуйся, Сах-Лума!

Глава 12. Сах-Лума

Вновь прибывший, столь активно приветствуемый, кланялся направо и налево со снисходительным видом в ответ на всеобщие восклицания и, приближаясь к Теосу, невольному узнику, удерживаемому в крепком захвате тремя или четырьмя могучими горожанами, сказал:

– Что здесь творится? Бог мой! Когда я услышал шум ссоры, омрачивший прелесть этого сладостного утра, мне показалось, что я уже не в Аль-Кирисе, а скорее, в каком-то западном городе варваров, где музыка носит одно название!

И он улыбнулся – по-детски ослепительной улыбкой, наполовину капризной, наполовину довольной – улыбкой сознательного превосходства человека, который знал неотразимость собственного очарования, способного унять любой раздор.

Несколько голосов одновременно ответили ему крикливым хором:

– Предатель, Сах-Лума!

– Нечестивый мятежник!

– Неверный!

– Негодный мошенник!

– Он отказался почтить Верховную Жрицу!

– Вероотступник!

– Во имя священного Покрова! – вскричал Сах-Лума. – Вы думаете, я могу разобрать вашу тарабарщину, когда, подобно невежественным ослам, вы говорите все вместе, разрывая мои уши столь неблагозвучным многоголосием! Кого это вы столь грубо держите? Дайте ему выступить!

После этого приказа люди, державшие Теоса, ослабили хватку, и он, задыхаясь и горя возмущением от такого обращения, быстро стряхнул с себя все руки и выпрыгнул вперёд, навстречу своему спасителю. Настала краткая пауза, во время которой эти двое рассматривали друг друга с взаимным удивлением. Что за таинственные признаки схожести прочли они на лицах друг у друга? Отчего оба замерли и замолкли на миг, созерцая наполовину восхищённо, наполовину завистливо внешность и поведение друг друга? Несомненно, что неясное, отдалённое сходство было между ними, и всё же то было сходство, не имевшее ничего общего ни с фигурой, ни с поведением, ни с лицом. Это была та самая особенная и часто неопределённая идентичность, которая, когда прослеживается между двумя абсолютно разными братьями, внезапно выдаёт их родство.

Теос отметил свой более высокий рост и мускулистое телосложение, но что были все эти физические превосходства в сравнении с классическим совершенством красоты Сах-Лумы? Красоты в сочетании с изяществом и силой, подобной художественным очертаниям бога Аполлона. Черты его лица, безупречно правильные, откупались от всякой изнеженности благородным отпечатком высокой мысли и внутреннего вдохновения; глаза были тёмными с сероватым проблеском стали, что порой разгорался, словно мягкая вспышка летней грозы на фоне глубокого пурпура августовских небес; его оливкового оттенка кожа горела здоровым румянцем; и у него были широкие, дерзкие, интеллектуальные брови, над которыми прекрасные волосы сбивались в роскошные локоны; волосы были почти чёрными и с размытыми вкраплениями красноватого золота тут и там, горевшими в его вьющейся гриве, как будто пара солнечных лучей попалась и запуталась в них. Одет он был в наряд из лучшего шёлка, его наручи, пояс и ножны для кинжала полностью покрывали драгоценные камни; и вся его внешняя красота одежды ещё более подчёркивалась прекрасно выполненным гибким колье из золота, инкрустированным бриллиантами. Как только первый обмен удивлёнными взглядами завершился, он посмотрел на Теоса с критическим, наполовину подозрительным видом.

– Кто ты? – спросил он. – Как твоё имя?

Теос колебался, а затем смело и безрассудно проговорил:

– Я поэт!

Ропот неудержимого смеха и издевательств пробежал среди слушающей толпы. Губы Сах-Лумы надменно изогнулись.

– Поэт! – и его пальцы слегка поиграли с кинжалом на ремне. – Нет, не то! В Аль-Кирисе есть только один поэт – и это я!

Теос пристально посмотрел на него, скрытая симпатия зародилась в нём по отношению к этому очаровательному хвастуну, он невольно улыбнулся и почтительно склонил голову.

– Я не стремлюсь быть твоим соперником… – начал было он.

– Соперником! – повторил Сах-Лума. – У меня нет соперников!

Взрыв аплодисментов со стороны ближайших к ним членов толпы утвердил всеобщее одобрение его заявления, и мальчишка с арфой, который прислушивался к разговору, провёл по струнам своего музыкального инструмента с победоносной силой и рвением, которые демонстрировали, насколько искренны и согласны были его чувства со словами его учителя. Сах-Лума с усилием преодолел минутное раздражение и продолжил

прохладным тоном:

– Откуда ты пришёл, уважаемый господин? Мы должны узнать твоё имя – поэтов не так уж много! – это было сказано с выраженной иронией.

Захваченный врасплох этим вопросом, Теос стоял в нерешительности, не зная, что сказать. Ибо он был одержим странной и ужасной болезнью, о которой у него имелось смутное воспоминание, но которою он сам никогда прежде не страдал, – болезнью, от которой его память стала почти чистой в отношении событий из его прошлой жизни, хотя то и дело смутные образы минувшего вспыхивали в его мозгу, словно переходящие отражения уносимых ветром облаков на глади спокойной, прозрачной воды. Вдруг посреди его болезненной нерешительности ответ возник сам собою, будто его нашептал некий невидимый суфлёр.

– Поэты, подобные Сах-Луме, несомненно, столь же редки, сколь и соловьи на снегу! – сказал он с осторожной почтительностью и возрастающим чувством нежности к своему надменному и прекрасному собеседнику. – А что до меня, то я певец печальных песен, которые не заслуживают того, чтобы их слушать! Моё имя Теос, я прибыл из-за далёких морей, и я в Аль-Кирисе чужак, поэтому допустил ошибку, меня можно обвинить лишь в невежестве, но не в злонамеренности!

Когда он говорил, Сах-Лума пристально смотрел на него, Теос встретил его взгляд открыто и решительно. Определённо было некое исключительное притяжение между ними двумя! Поскольку когда их горящие взоры вновь встретились, оба улыбнулись и Сах-Лума, приблизившись, протянул руку. Теос немедленно принял её, и неясное приятное чувство пробежало по его телу, когда он держал его тонкие эфирные пальцы в своём сердечном пожатии.

– Чужак в Аль-Кирисе? Да ещё из-за дальних морей? Тогда, клянусь честью и жизнью, я обещаю тебе безопасность и приветствую тебя! Певец печальных песен? Печальных или весёлых, но то, что ты вообще певец, делает тебя гостем королевского Лауреата! – Выражение сознательного тщеславия осветило его лицо, когда он таким образом с гордостью объявил собственный титул и притязание на исключительность. – Братство поэтов, – продолжал он со смехом, – это таинственная и непрочная связь, которая нередко ставится под сомнение, однако в случае, если они не дерутся, подобно диким волкам на арене, их отношения должна наполнять радость. – На этом развернувшись к толпе, он возвысил свой богатый, мелодичный голос до более высоких и звонких тонов:

– Как это похоже на вас, о поспешные и несправедливые аль-кирийцы: отыскать беззащитного странника из далёких земель, прибывшего на праздник Летнего Благословения, и наброситься на него, подобно коршунам на заблудившуюся морскую птицу, и разодрать беспощадными когтями! Если он нарушил закон поклонения, то вы нарушили закон гостеприимства! Если он отказался преклонить колени пред Кораблём Солнца, то вы отказали ему в должном уважении! Какой рассказ он поведает о вашей доброте и культуре тем туманным и безрадостным берегам за гранью серо-зелёной стены океанских волн, где само имя Аль-Кириса служит символом для всего, что есть великого и мудрого, и удивительного на всём круглом шаре мира? Кроме того, вам прекрасно известно, что иностранцы и пришельцы в городе освобождены от поклонения, и приказ короля таков, что все подобные люди должны встречать доброжелательность и благородство до самого последнего дня, чтобы по отбытии они могли унести с собой полную корзину приятных воспоминаний. Поэтому, ротозеи, все по домам! Ни одного праздника не проходит у вас без раздоров! Все вы – плохо сделанные инструменты, чьи дребезжащие струны даже я, признанный Менестрель Короля, едва ли могу продержать хоть один день на счастливом ладу! Запомните! Этот чужак – мой гость! Найдётся ли во всём Аль-Кирисе хоть один, кто станет обращаться как с врагом с тем человеком, кого Сах-Лума зовёт своим другом?

Буря аплодисментов последовала за этой краткой импровизированной речью – аплодисментов, дополненных ароматным цветочным дождём. В толпе находилось много женщин, и они жадно напирали вперёд, чтобы уловить каждое слово, падавшее со сладких губ поэта-лавроносца; и теперь, движимые единым всеобщим порывом, они поспешно срывали свои букеты и гирлянды и швыряли их в щедром изобилии к его ногам. Некоторым цветам случилось упасть и к ногам Теоса и прицепиться к его одежде, он быстро стряхнул их и, собрав вместе, вручил тому, кому они предназначались. Он, однако, весело отверг их, игриво передвигая своими маленькими ногами, обутыми в сандалии, среди плотного изобилия красных и белых роз, что лежали в ожидании гибели под его шагами.

– Прими свою долю! – сказал он с радостным блеском в прекрасных глазах. – Такие подарки – мой каждодневный жребий! Я могу выделить и тебе одну толику обильного урожая моей песни!

Невозможно было обижаться на столь очаровательное самодовольство, наивное зазнайство этого человека было

столь же безобидным, сколь и довольство прекрасной девушки, одержавшей свою первую победу, и Теос с улыбкой принял цветы. К этому времени окружающая толпа уже разорвалась на небольшие группы, вся недоброжелательность народа полностью испарилась, и огромное число людей теперь покидало набережную и рассеивалось в различных направлениях по своим домам. Все, кто находился в радиусе слышимости речи Сах-Лумы, казались теперь чрезвычайно вдохновлёнными, словно им удалось снискать некое особенное удовольствие или привилегию. Упрёк от Лауреата явно считался лучше, чем награда из рук кого-либо ещё. Множество людей протискивалось к Теосу и пожимало ему руки, принося свои искренние извинения за предшествовавшее недопонимание, активно объясняя словами и жестами, что тот факт, что он был одет как они, побудил их считать его одним из горожан, а потому подчинённым законам королевства. Теос уже начинал чувствовать некоторую неловкость от чрезмерной вежливости и сердечности своих недавних гонителей, когда Сах-Лума вновь вмешался, резко оборвав извинения.

– Довольно! Довольно! Оставьте эти бесполезные слова! – сказал он повелительно, но доброжелательно. – Вы во всём выказываете своё тупое невежество и отсутствие такта. Ибо, касательно одежды, не по всему ли миру копируется так или иначе мода Аль-Кириса? Равно как и наш язык и литература становятся главным предметом изучения и наслаждения у всех учёных и образованных благородных особ? Мир вашему спору! Дайте нам уйти отсюда домой, – тут он повернулся к Теосу с грациозным приветствием. – Ты, мой дорогой друг, несомненно, будешь рад отдохнуть и восстановить силы после непочтительного отношения моих сограждан к твоей персоне.

Сказав это, он отдал лёгкий командный знак, собравшиеся люди расступились в стороны, и он, ведя Теоса под руку, прошёл через их ряды, разговаривая, смеясь и грациозно кивая на все стороны с наполовину добродушной, наполовину безразличной лёгкостью любезного монарха, который случайно кланяется кому-то из своих беднейших подданных. Когда он прошёл по цветам, лежавшим у него на пути, несколько девушек нетерпеливо рванулись вперёд, отталкивая друг друга в борьбе за то, чтобы завладеть этими особенно благословенными цветами, снискавшими удовольствие быть раздавленными его ногами, и, целуя их, они собирали цветы в небольшие букеты и гордо прикалывали к белым одеждам.

Ещё один восторженный крик «Хвала Сах-Луме!» взлетел со всех сторон, удаляясь всё дальше, и тогда остатки толпы

быстро рассеялись, оставив набережную почти пустой, не считая присутствия нескольких человек, одетых в медного и голубого цветов одежды, которые начинали снимать и скручивать шёлковые тенты, сопровождая свой труд каким-то монотонным завыванием, которое, смешиваясь с медленным, скользящим течением реки, звучало столь же странно и заунывно, как шелест ветра в ветвях облетевших деревьев.

Тем временем Теос в компании своего нового друга начал выражать свою благодарность за недавнее спасение, но Сах-Лума отмахнулся от этой признательности.

– Нет, я лишь послужил тебе, как коронованный Лауреат всегда и должен служить младшему менестрелю, – сказал он с тем неописуемо восхитительным самообольщением, которое было столь эксцентричным и при этом столь обезоруживающим. – И я говорю тебе от всего сердца, что для вновь прибывшего гостя Аль-Кириса твоё первое приключение было весьма неудачным! Отказаться преклонить колени в присутствии Верховной Жрицы во время её Благословения было нарушением наших обычаев и обрядов, опасным для жизни и здоровья! Охваченная религиозным экстазом чернь беспощадна, и если бы я случайно не объявился на арене их действия…

– То я уже не был бы тем человеком, кто я есть! – улыбнулся Теос, глядя сверху вниз на лёгкую, гибкую, элегантную фигуру своего собеседника, когда он грациозно шагал рядом с ним. – Но то, что я не почтил Верховную Жрицу, явилось непреднамеренным недостатком сообразительности у меня, поскольку если это была Верховная Жрица – это ослепительное чудо красоты, исчезнувшее на скользящем корабле в своём триумфальном сплаве вниз по реке, словно бесценная жемчужина в чаше из золота…

– Ай-ай! – и тёмные брови Сах-Лумы изогнулись в лёгком недовольстве. – Не нужно столько красивых слов, умоляю тебя! Ошибиться здесь невозможно – это может быть одна лишь Лизия!

– Лизия! – прошептал Теос мечтательно, и это мелодичное имя слетело с его губ мягким шипящим звуком. – Лизия! А я забыл преклонить колени перед этим очаровательным, прекрасным созданием! О глупец, лесной болван! О чём я только думал? В следующий раз я искуплю свою вину! Неважно, какую веру она представляет, – я расцелую пыль у её ног и этим искуплю свой грех!

Сах-Лума взглянул на него с несколько подозрительным выражением.

– Что? Неужели ты уже уверовал? – легкомысленно спросил он. – И теперь станешь одним из нас? Что ж, тебе поистине

придётся целовать пыль у ног твоей дражайшей Лизии. Никаких полумер не достаточно там, где действует она – Неприкасаемая и Непорочная, – и в этом прозвучал слабый намёк на насмешку и одновременно печаль. – Любить её для многих мужчин является совершенной необходимостью, но Целомудренная Жрица Солнца и Змеи принимает любовь подобно статуе: до дрожи трогая других, сама она остаётся холодной!

Теос слушал, едва слыша. Он изучал каждую чёрточку лица Сах-Лумы и его фигуры с пристальным и задумчивым вниманием. Почти бессознательно он сжал державшую его руку, и Сах-Лума вскинул взгляд на него с полуулыбкой.

– Думаю, мы с тобой сойдёмся! – сказал он. – Ты – певчая перелётная птичка с Запада, а я – угнездившийся соловей среди роз Востока, наши пути творения музыки различны – мы не станем ссориться!

– Ссориться! – эхом откликнулся удивлённый Теос. – Нет! Я мог бы поссориться с самым близким и дражайшим другом, но не с тобой, Сах-Лума! Ибо я знаю тебя как истинного короля среди поэтов! Так же как никогда бы не осквернил я святости самой Музы предательством предложенной тобою дружбы!

– В таком случае, – отвечал Сах-Лума, и его яркие глаза вспыхнули неприкрытым довольством, – раз ты обо мне такого мнения, то мы станем надёжными товарищами! Ты говоришь хорошо и не без должной сноровки, я полагаю, что моя слава дошла до тебя даже в заморских краях, где музыка столь же редка, сколь и солнце. Я весьма рад, что случай свёл нас вместе, ибо теперь ты сможешь лучше оценить моё непревзойдённое мастерство переплетения слов! Ты должен быть при мне постоянно во время своего пребывания здесь. Ты готов?

– Готов? Ай! Даже более чем! – вскричал Теос с оживлением. – Но, если я обременяю твоё гостеприимство…

– Обременяешь! – и Сах-Лума рассмеялся. – Не говори мне о бременах! Мне, кто пировал с королями и смеялся над их развлечениями! Вот, – добавил он, когда прокладывал путь через широкую аллею, украшенную великолепными пальмами, – вот вход в моё скромное жилище! Как мне кажется, внутри достаточно комнат, даже если бы ты приехал с целой свитой рабов!

Он указал перед собой при этих словах, и Теос на секунду замер, превозмогая удивление от размеров и блеска дворца, к чьим воротам они как раз приближались. Это было куполообразное здание из чистейшего белого мрамора, окружённое со всех сторон длинной волнистой колоннадой и с просторным двором, вымощенным мозаикой, где восемь

обставленных зеленью фонтанов взлетали вверх к жаркому голубому небу непрестанным душем освежающих брызг.

Внутрь этого двора и через него Сах-Лума провёл своего удивлённого гостя. Поднявшись по широкой воздушной лестнице, они попали в обширный открытый холл, где свет струился сквозь бледно-голубое и розовое стекло, что создавало странный и вместе с тем приятный эффект одновременно рассветного и лунного освещения всей сцены. Здесь, опираясь на подушки из шёлка и вельвета, находилось несколько прекрасных девушек в различных ленивых и томных позах; одна смеющаяся темноволосая гурия забавлялась с ручной птицей, которая перелетала с одного на другой из её поднятых пальцев; другая в полусидящем положении играла в кубок и шар с выраженной грацией и ловкостью; другие, собравшись в полукруг возле огромной ивовой корзины, наполненной миртом, были заняты плетением гирлянд из ароматных листьев; и одна девушка, явно моложе остальных и более лёгкого и изящного телосложения, прильнула в некоторой задумчивости к отделанной слоновой костью арфе, словно раздумывая над тем, какие печальные или вдохновляющие ноты ей стоит пробудить в её отзывчивых струнах. С появлением Сах-Лумы и Теоса эти нимфы оставили все свои занятия и развлечения и встали со склонёнными головами, и опустили руки в молчании и смирении каменных статуй.

– Это мои человеческие бутоны роз! – сказал Сах-Лума мягко и весело, когда, держа поражённого Теоса под руку, он проводил его мимо этих сияющих и неповторимых фигур. – Они расцветают и увядают, и погибают, как цветы, брошенные чернью, гордые и счастливые тем, что их тленная прелесть сумела, пусть даже на краткое время, продлиться от соприкосновения с бессмертной славой поэта! Ах, Нифрата! – и он остановился рядом с девушкой у арфы. – Много ли моих песен ты исполнила сегодня? Или твой голос слишком слаб для столь страстного исполнения? Ты бледна. Мне не хватает твоего мягкого румянца и игривой улыбки! Что с тобой, моя модовоголосая иволга?

– Ничего, мой повелитель! – отвечала Нифрата тихим голосом, подняв прекрасные, фиолетовые с паволокой глаза в обрамлении длинных чёрных ресниц. – Ничего, только сердце моё всегда печалится вдали от тебя!

Сах-Лума улыбнулся, весьма довольный.

– В таком случае, да прекратится эта печаль! – сказал он, поглаживая её щёку. – И Теос заметил волну сильного жара, стремительно взлетевшую к её прекрасным бровям при этом прикосновении, словно она была белым маком, согретым до алого цвета горящим жаром солнца. – Мне нравится видеть

тебя весёлой – веселье к лицу молодым и прекрасным, как ты! Взгляни, сладкая! Я привёл с собою чужака из далёких земель – человека, для которого имя Сах-Лумы, словно звезда в пустыне! Мне необходим твой голос во всём его ярком звучании, чтобы исполнить ему на радость те мои душевные вирши, которые ты научилась петь с такой несравненной нежностью! Благодарю, Гисенья, – обратился он уже к другой подошедшей девушке и, осторожно сняв свой миртовый венок, водрузил на голову новый, только что сплетённый. Затем, повернувшись к Теосу, он спросил: – Ты тоже наденешь венок менестреля, друг мой? Нифрата или Гисенья тебе помогут!

– Я недостоин! – отвечал Теос, склонив голову в низком поклоне, приветствуя двух прелестных девушек, глядевших на него с явно задумчивым удивлением. – Одного цветка из увядшего венка Сах-Лумы для меня вполне довольно!

Сах-Лума разразился смехом, выражая совершенное довольство.

– Клянусь, ты говоришь прекрасно, как истинный мужчина! – сказал он весело. – Хоть ты и неизвестен, но заслуживаешь хвалы за честное признание недостатка таланта! Поверь мне, есть немало хвастливых рифмоплётов в Аль-Кирисе, которые бы много приобрели, позаимствовав частичку твоей скромности! Исполни его желание, Гисенья, – и Гисенья послушно вытащила веточку мирта из того венка, который Сах-Лума носил весь день, и вручила его Теосу с изящным поклоном, – ибо, быть может, эти листья хранят в себе некое волшебство, о котором нам ничего не известно и которое подарит ему прикосновение божественного вдохновения!

В этот момент любопытная фигура прошаркала по великолепному холлу, которая принадлежала маленькому старичку, несколько потрёпано одетому; на его морщинистом лице показалась застывшая злобная улыбка, как у насмешливой греческой маски. У него были маленькие блестящие глазки, располагавшиеся очень близко к переносице огромного загнутого носа; его тонкие, жиденькие седые волосы редкими прядями падали на согбенные плечи, и он нёс высокую трость, помогая своим неловким шагам, – трость, которой он и производил пренеприятнейший шаркающий звук по мраморному полу, проходя мимо.

– А, сер бродяга! – вскричал он резким, скрипучим голосом, как только заметил Сах-Луму. – Снова вернулся со своей развлекательной прогулки по городу! Осталась ли ещё хоть одна несчастная душа в Аль-Кирисе, чей слух не оглушили попугайские выкрики имени Сах-Лумы? Если так – к нему, к нему,

мой уточнённый певец томительных трелей! К нему – штурмовать его чувства беспричинным потоком хвастливых рифм! К нему, бессмертнейший из бессмертных! Бард всех бардов! Раздави его четверостишиями и шестистопными ямбами! Бей его белым стихом с чёрным смыслом! Хлещи его балладой и сонетом, пока измученный несчастный, взывая к милосердию, не поклянётся, что не рождалось ещё истинного поэта до великого Сах-Лумы и никогда не будет после него на лике трепещущей и поражённой земли!

И, задохнувшись от столь экстравагантного излияния, он сильно грохнул своей палкой об пол и немедленно разразился таким отчаянным кашлем, что всё его тщедушное тело затряслось в пароксизме.

Сах-Лума сердечно засмеялся тем смехом, в котором к нему присоединились все собравшиеся девушки, включая и услужливую Нифрату с мечтательным взглядом. Выпрямившись в своём сверкающем королевском наряде, свободно положив одну руку на плечо Теоса и излучая веселье, осветившее его прекрасные черты лица, он являл собою величайший контраст с маленьким высохшим старичком, кто, конвульсивно вцепившись в свой посох, был полностью поглощён попытками успокоиться и сдержать внезапный и неприятный приступ, грозивший ему удушьем.

– Теос, друг мой, – сказал он, смеясь. – Ты, должно быть, знаешь несравненного Забастеса – человека весьма высокого о себе мнения! Довольно хрипеть, – продолжал он, яростно стуча старика по спине, – здесь ещё один представитель ремесла, которое ты так ненавидишь; найдётся ли у тебя на языке ещё яд, чтобы приветствовать его как гостя моего дома?

Поражённый старик вопросительно уставился вверх, на Теоса, сглатывая слёзы, выступившие на глаза от кашля, и спустя пару минут тоже приглушённо захихикал тем смехом, который походил на кваканье лягушек в болоте.

– Ещё один менестрель, – повторил он насмешливым эхом. – Ай, ай! Подобное к подобному, как и дураки тянутся к дуракам. Гость Сах-Лумы! Послушай меня, молодой человек, – и он приблизился, и зловредная улыбка расплылась по всему лицу: – Ты познаешь здесь достаточно грязи, чтобы набраться идиотских песенок на целый век. Ты насобираешь здесь столько глупостей, что их достанет, чтобы накормить всех плаксивых девиц страны! Ты тоже пишешь эти бредни? Здесь ты не должен этого делать, здесь даже не помышляй о них! Ибо здесь Сах-Лума – великий и непревзойдённый Сах-Лума – единственный властелин земель Поэзии. Поэзии – во имя всех богов! – я мечтаю, чтобы это

проклятое искусство никогда не рождалось! Тогда, возможно, мир был бы избавлен от множества бумагомарателей-бездельников, увязающих в смутном и отвлечённом многословии! Ты потенциальный поэт? Вперёд! Лепи кирпич, чини сандалии, копай окопы, сражайся за свою страну – и оставь пустое хитросплетение слов и звонких рифм для детей, подобных Сах-Луме, которые играют в жизнь, вместо того чтобы жить.

И на этом он с трудом заковылял прочь, кряхтя и ворча на ходу и повелительно размахивая палкой направо и налево, чтобы прогнать улыбающихся девушек со своего пути; и снова смех Сах-Лумы, чистый и весёлый, вознёсся под своды холла.

– Несчастный Забастес! – сказал он с выражением добродушного снисхождения. – У него самый колкий язык во всём Аль-Кирисе! Он истинное порождение извращённости и злобливости, весьма достойный четырёх сотен золотых в год, которые я ему плачу за то, что он исполняет обязанности моего писаря и критика. Как и любому из нас, ему необходимо жить, есть и скромно одеваться – и в том, что его единственный литературный талант находится в подчинении у лучшего человека, чем он сам, заключается его беда, равно как и вина. Да! Он мой оплаченный критик, получающий деньги за то, что выступает против меня при любой возможности, публично и дома, на радость тем, кто пожелает слушать его недовольное бормотание; и, клянусь священным Покровом, я не могу сдержать смеха, когда думаю о нём. Он полагает, что слова его что-то значат для людей, – увы, бедный старик! Его презрение и ругательства лишь подпитывают мою славу! Нет, по правде сказать, я в нём нуждаюсь, равно как и король нуждается в эскорте дураков, для того чтобы веселить меня в свободные мгновения, ибо есть нечто гротескное в созерцании его язвительного фиглярства, которое не замечает в жизни ничего иного, кроме еды, сна, строительства и торговли. Такой человек, как он, никогда не поймёт, что есть и другие, вдохновлённые небесами люди, для кого все банальности принимают изящную форму и значение; для кого цветы раскрывают свои ароматные тайны; для кого птицы не просто поют, но говорят с ним самыми мелодичными речами; для чьих мечтательных глаз сами солнечные лучи прядут яркие фантазии в воздушном пространстве, более реальные, чем все королевства мира! Ослеплённый и несчастный Забастес! Он глуп, как камень, и от него тайны природы навечно сокрыты. Триумфальный марш звёзд, краткая яркая вспышка горящей кометы, гимн розы, когда она преподносит своё алое сердце улыбке солнца, хор зелёных листьев, поющий хвалебные гимны ветру, бесконечный эпос

возвышенного безмолвия небес, где шагает белая луна, блуждающая, словно девица в поисках любви, – все эти и иные бесчисленные радости утрачены для него – радости, которыми Сах-Лума, дитя высших богов и баловень судьбы, упивается вместе со светом и воздухом.

Глаза его смягчились, исполнившись мечтательного, интенсивного блеска, который придавал им новую и почти трогательную прелесть, пока Теос, ловя каждое сказанное им слово, гадал, было ли в мире нечто более прекрасное, чем сладостные звуки подъёма и падения его неповторимого голоса; голоса, столь изящного, чистого и богатого, как и нежная игра золотой флейты.

– Да! Хоть мы и смеёмся над Забастесом, но мы должны и пожалеть его, – продолжал он более весёлым тоном. – Его судьба незавидна. Он всего лишь критик, он не мог бы опуститься ниже; человек, сам не способный создать ничего великого, прячется за чужими ошибками. И теми, кто сам гнушается истинной поэзии, со временем будут гнушаться и другие; баланс справедливости никогда не нарушается в подобных вещах. Поэт завоёвывает любовь всего мира и бессмертную славу, а его противоположность – критик – лишь краткосрочное презрение и вечное забытье. Идём, – добавил он, обращаясь к Теосу, – предоставим этих девушек их занятиям. Нифрата! – Тут его ослепительная улыбка сверкнула, как солнечный луч. – Ты принесёшь нам фрукты и молодое вино; мы проведём день дома вдвоём. Прикажи моему управителю приготовить Розовую спальню для гостя, и пусть Афазель и Зимра ждут его там.

Все девушки поклонились в безоговорочном подчинении, касаясь руками лба, и Сах-Лума, показывая путь, вежливо пригласил Теоса следовать за ним. Так он и сделал, сознавая на ходу два отчётливых чувства: во-первых, что таинственное психическое возбуждение, которое он испытывал с тех пор, как оказался столь неожиданно в этом странном городе, всё ещё не рассеялось; во-вторых, что он ощущал, будто был знаком с Сах-Лумой в прошлой жизни! Его память всё ещё оставалась чистой касательно прошлого, но этот факт не переставал тревожить его, и он оставался совершенно спокойным, и вместе с тем довольным, своим нынешним окружением. Короче, пребывание в Аль-Кирисе представлялось ему вполне согласным с должным ходом вещей, в то время как дружба Сах-Лумы являлась даже более естественной и знакомой его разуму, чем все прочие естественные и знакомые вещи.

Глава 13. Дворец поэта

Скользя вперёд своим грациозным, почти призрачным шагом, который был так свойственен его манере, Сах-Лума проводил своего гостя в дальний конец огромного зала. Там, откинув в сторону занавес из богатого лазурного шёлка, который частично скрывал две огромные распашные двери, он провёл его в великолепные апартаменты с выходом на террасу и в сад за нею; сад был наполнен такой чудесной пышностью зелёной листвы и цветов, что, глядя на него из-за сверкающих мраморных колонн, окружавших дворец, казалось, будто само небо опиралось своим краем на возвышающиеся пирамиды из красных и белых цветов. Навесы бледно-голубого цвета протянулись от окон на всю пространную ширину внешней колоннады, и здесь два маленьких мальчика, полураздетых и чёрных, как отполированная слоновая кость, прижались друг к другу на мозаичном полу, наблюдая за высокомерным поведением павлина, который величаво расхаживал взад-вперёд, хвастливо распушив хвост и яркий хохолок, блестящий, как лучи горячего солнца на серебряной бахроме лазурного навеса.

– Вставайте, ленивые негодники! – повелительно вскричал Сах-Лума, как только краешек его сандалии коснулся бугристой, сверкающей черной кожи ближайшего мальчишки. – Вставайте и убирайтесь! Принесите мне розовой воды и благовоний! О боги! Вы оставили тлеющий ладан в горелке вон там! – и он указал на массивную медную курительницу, шикарно украшенную, откуда исходил розовый тончайший ароматный дымок. – Прочь оба, вы, изнеженные арапы! Принесите свежего ладана и пальмовых листьев, чтобы расшевелись горячий воздух; и чтобы одна нога здесь, другая там! Иначе совсем убирайтесь с глаз моих!

Пока он говорил, мальчишки стояли, дрожа и втянув лохматые головы в плечи, словно ожидая, что их разгневанный повелитель схватит и вышвырнет их, как чёрные мячи прочь, в пустыню цветов, но, несмело подняв взгляд и видя, что даже в разгаре своего раздражения он улыбался, они набрались смелости и, как только он замолчал, рванули прочь со скоростью летящей стрелы, стараясь перегнать друг друга в гонке через террасу и сад. Сах-Лума рассмеялся глядя на них и затем, вернувшись в комнату, повернулся к Теосу и пригласил его присесть. Теоса неудержимо поглотило низкое с бархатными подушками кресло с богатой резьбой и инкрустацией слоновой кости, и, лениво вытянувшись в нём, он оглядывал с новым

и всевозрастающим восхищением гибкую, изящную фигуру своего хозяина, кто, бросившись на кушетку, покрытую леопардовыми шкурами, закинул руки за голову и смотрел на гостя с довольной улыбкой, выражавшей тщеславие и самодовольство.

– Это не самое плохое убежище для мечтательного поэта, – сказал он, напуская на себя безразличный вид, когда оглядывал свои роскошные, почти королевские комнаты. – Я слыхал и о худшем! Но, по правде сказать, потребны величайшие произведения мирового искусства, чтобы достойно убрать комнату, в которой постоянно обитает божественная Муза, тем не менее недостатка в воздухе, свете и цветах здесь нет, а на них одних, мнится мне, я мог бы существовать, если бы даже лишился всего прочего!

Теос сидел молча, глядя на него с тоской. Был ли когда-либо поэт, король или даже император, живший более роскошно, чем этот человек, думал он? Когда глаза его блуждали по куполообразному потолку, увитому резными гроздьями винограда и плодами граната; по стенам с яркими фресками, изображавшими любовные сцены и песенные состязания; по композициям великолепных статуй, что горели белизной на фоне сумрачных, драпированных бархатом углов; по причудливой формы книжным шкафам, набитым книгами и приспособленным к тому, чтобы вращаться от одного прикосновения или сдвигаться в сторону на бесшумных колёсах; по огромным бюстам из бронзы и мрамора, которые стояли на высоких пьедесталах или на выступавших кронштейнах; и, пока он мимоходом отмечал все эти великолепные свидетельства безграничного богатства и роскоши, аромат и блеск этого места, сверкание золота и лазури, серебра и багрянца, восточная истома, наполнявшая самый воздух и весь богатый янтарь и лазурного оттенка свет, что изливался на каждый предмет сказочным, мечтательным сиянием, – погрузили его чувства в восхитительное смятение, в пульсирующую лихорадку наслаждения, для которой он не мог подобрать названия, но которая пронизывала каждый фибр его существа.

Он почувствовал себя отчасти ослеплённым блеском всей этой сцены; головокружительной яркостью цветов; горением глубоких и нежных оттенков, коварно перемешивающихся и контрастирующих; великолепной пышностью покачивающихся цветов, что, казалось, вздымались, словно море, к самым окнам; и, хотя в мозгу его лениво витало много мыслей, он не мог выразить их словами. Он рассеяно уставился в пол, выложенный пёстрой мозаикой и закиданный мягкими, тёмными, пушистыми шкурами диких животных; недалеко от него стоял огромный

бронзовый пюпитр, который поддерживал скульптурный грифон с рогами, загибавшимися кверху в форме канделябра; арфоносец принёс арфу, и теперь она стояла на видном месте, украшенная миртом, – некоторые из гирлянд, сплетённых девушками, несомненно, использовались для этой цели.

И всё же было нечто нереальное и фантастическое в великолепии, что повсюду окружало его; он чувствовал себя так, словно был зрителем в огромном зале, где занавес только что поднялся перед первой сценой спектакля. Он с сомнением размышлял внутри своего смущённого разума, была ли такая королевская жизнь привилегией, или правом, или традицией для поэтов вообще, когда Сах-Лума снова заговорил, махнув рукою в сторону одного из бюстов около себя, – массивной, нахмуренной головы, великолепно выполненной художником.

– Вот это славный Оразель! – сказал он. – Праотец, как всем нам известно, искусства Поэзии и всей истинной литературы! И всё же находятся те, кто клянётся, что его никогда не было, ай! Хотя его поэмы и дошли до нас, я слышал множество споров среди так называемых мудрецов, подобных Забастесу, по поводу его стиля и методов стихосложения. Всё написанное им носит дух пера одного мастера, тем не менее болтливые спорщики утверждают, что его знаменитая работа «Рува-Калама» передавалась в восточной устной традиции, пока не дошла до нас в её «улучшенной» нынешней форме. «Улучшенной!» – и Сах-Лума презрительно рассмеялся. – Как будто бормотание эпической поэмы дедом внуку может как-то её улучшить! Да при этом она скорее ухудшится, если вообще не выродится в обычные частушки! Нет, нет! «Рува-Калама» – это достижение одного из величайших умов; не двадцать Оразелей кряду родилось, чтобы создать её, а был, и мог быть, лишь один, и он по праву превосходства есть величайший из бессмертных бардов! Равно как и глупцы могут впоследствии спорить и говорить, что было много Сах-Лум! Только я не преминул позаботиться о том, чтобы потомки знали, что это был только я один – непревзойдённый певец вдохновлённых любовью песен на всём протяжении этого мира!

Он вскочил из своей лежачей позы и привлёк внимание Теоса к другому бюсту, даже более красивому, чем первый; он стоял на пьедестале с венком на голове и лаврами у основания.

– Божественный Гиспирус! – воскликнул он, указывая на него в каком-то экстазе. – Мастер, у которого я, быть может, перенял совершенную восторженность собственного слога! Он обладает, как ты знаешь, непревзойдённой и вселенской славой, и всё же – ты не поверишь! – в прошлом нашлась в Аль-Кирисе одна свинья,

избравшая его предметом своей брани, а прочие свиньи присоединились к нему смрадным блеянием. Удивительные пьесы Гиспируса! Величайшие трагедии, воздушные комедии, нежнейшие фантазии, когда-либо рождённые умом человека, были поставлены под сомнение этими жвачными животными! И одна самая непрошибаемая ослиная голова прикинулась, что обнаружила отрывок из тайного письма, которое должно, как думали эти глупцы, доказать, что Гиспирус не был автором собственных работ, а был лишь обманщиком и копировал вдохновение другого, менее известного человека! Клянусь богами! Можно было бы посмеяться над глупой скотиной, не будь он вместе с тем слишком ничтожным, чтобы вызвать даже насмешку! Гиспирус – предатель искусства, которому он служил и которое прославлял? Гиспирус – литературный обманщик и фальсификатор? Клянусь головою Змеи! Они могут скорее доказать, что ясное солнце на небесах – это обычная масляная лампа, чем пытаться умалить хоть на йоту прозрачную славу благороднейшего из поэтов всех веков!

Охваченный энтузиазмом, с горящим взглядом и порывистыми речами, слетавшими с языка, с откинутой головой и воздетыми руками Сах-Лума выглядел чарующе, и Теос, чьему затуманенному разуму имена Оразеля и Гиспируса ни о чём не говорили, тем не менее был тронут явной многозначительностью его замечаний, которые, казалось, были вынесены из некоего спора в литературном мире, случившегося совсем недавно. Он был озадачен и пытался нащупать точку опоры, вокруг которой его мысли витали столь расплывчато, но не мог прийти ни к какому конкретному выводу. Блестящий, подобный метеору Сах-Лума тем временем метался туда и сюда по комнате, выхватывая определённые тома с перегруженных стеллажей и сваливая их в кучу на маленьком столике рядом со своим гостем.

– Вот некоторые из ранних изданий пьес Гиспируса, – продолжал он, говоря тем быстрым, текучим голосом, что был подобен пению птиц. – Они редки и любопытны. Взгляни! Имена, подписи и даты издания все различные. Ах! Сокровища поэзии сокрыты на этих страницах! Есть ли ещё папирус, гуще украшенный жемчугами мысли и мудрости? Если существует будущая жизнь, друг мой, – и тут он бесцеремонно положил руку на плечо гостя, в то время как яркий, серый как сталь блеск сверкал в его чудесных глазах, – то её стоит прожить ради Гиспируса – столь же великого, сколь и Бог, сколь и любой из громовержцев империи!

– Несомненно, есть будущая жизнь! – пошептал Теос, едва

сознавая свои слова. – Жизнь, в которой ты и я, Сах-Лума, и все мастера, и служители поэзии встретимся и устроим огромный праздник!

Сах-Лума снова засмеялся, несколько печально на этот раз, и пожал плечами.

– Не верь! – сказал он, и в его красивом голосе прозвучал намёк на печаль. – Мы мошки в лучах солнца, муравьи на песчаном бархане – не более! Ты думаешь, что существует иной мир для пчёл, которые гибнут от обжорства в медовой чаше; для кружащихся стай ярких бабочек, которые сонно порхают по ветру, не зная куда, пока их не собьёт ледяной северный порыв, от которого они падут, словно поломанные бесцветные листья, в придорожную пыль? Есть ли будущий мир для них? – и он вытащил из вазы восхитительно ароматный, изящный цветок в форме лилии. – Проявление его души или разума – это его аромат; и даже если наше проявление находит выражение в мысли и вдохновении, то имеем ли мы больше прав на последующую жизнь, чем этот невиннейший прекрасный цветок, незапятнанный деяниями зла? Нет! Я скорее поверю в рай для зверей и цветов, чем для женщин и мужчин!

Тень боли омрачила красоту его лица при этих словах, и Теос, глядя прямо на него, внезапно исполнился сожаления и беспокойства, он страстно хотел заверить его в том, что поистине было будущее и более счастливое существование; он, Теос, мог поручиться за это! Но как и почему? Что мог он сказать? Чем мог доказать?

Горло его пересохло, глаза горели, ему словно бы запрещено было говорить, несмотря на страстное желание поддержать душу своего новообретённого друга, на нечто вроде непередаваемого ощущения вечности, которое он теперь сознавал, подобно тому, как человек, освобождающийся из тюрьмы, впитывает в себя свободу. В молчании и чувствуя горячие, неудержимые слёзы, рвущиеся наружу из самого сердца, он переворачивал страницы книг Гиспируса почти механически; они состояли из листов папируса, искусно переплетённых в кожаные переплёты и сшитых вместе золотистой лентой.

Кирийский язык был, как он прежде уже узнал, прекрасно ему знаком, хотя он не мог объяснить откуда; и он с первого взгляда отметил, что Сах-Лума имел все причины для столь ярой защиты писателя, чей гений он столь отчаянно отстаивал. В потоке стихов имелась звучная глубина, красота рифм в сочетании с простотой и прямотой выражения, которая очаровывала слух, воздействуя на ум; и он начал читать тихим голосом открытые строки вдохновенного призыва к бою, гласившие следующее:

Скажу тебе я, гордый Царь на троне,
Что с этих радостных полей
И плодороднейших просторов
Весной пожнёшь ты странный урожай,
Посеянный и не твоим, и не тобою!

Вооружённых воинов миллионы:
В шлема́х и с острыми мечами,
Ужасно алчных и в бою неудержимых.
Хохлаты сталью их оруженосцы,
Копьеметатели и кони боевые.

Они поднимут флаги и знамёна, ужасные свои мечи —
В глазах смертельный блеск, и руки жёсткие готовы
Схватить и вырвать жизнь у их молящей жизни,
И ужасом охватит дикий хаос
Все небеса до самых дальних звёзд…

Вскоре два маленьких чёрных пажа, ранее столь поспешно отосланные Сах-Лумой, возвратились, неся в руках по огромной золотой чаше, наполненной розовой водой, а также прекрасную одежду, отделанную кружевом и мягкую, как атлас.

Смиренно преклонив колени, один – перед Теосом, второй – перед Сах-Лумой, они подняли эти огромные блестящие чаши и застыли неподвижно. Сах-Лума погрузил лицо и руки в прохладную, ароматную жидкость, и Теос последовал его примеру; по окончании этих лёгких омовений пажи исчезли, возвратившись обратно почти тотчас же с корзинами опавших лепестков роз, белых и красных, которые они обильно разбросали по комнате. Приятный сладковатый, но ненавязчивый аромат начал освежать уже надушенный воздух, и Сах-Лума, упав снова на свою подушку, предложил Теосу занять такое же расслабленное положение напротив. Он немедленно подчинился, снова уступая ленивой роскоши и сладострастному легкомыслию; теперь аромат ладана уже перемешался с запахом сорванных лепестков роз; пажи пополнили горелки ладаном и, покончив с этим, каждый из них принёс по широкому, длинному пальмовому листу и, заняв свои места, они начали обмахивать двоих молодых людей медленно и с размеренной осторожностью, стоя молча, как маленькие чёрные статуи, случайным образом двигая лишь белыми яблоками глаз да изящно помахивая вверх-вниз изогнутыми листьями.

– Вот так и должен жить поэт всегда! – прошептал Теос,

поднимая взгляд с мягких подушек на Сах-Луму, который лежал с полуприкрытыми глазами и задумчивой улыбкой на прелестных губах. – Быть центром средоточия красоты с ничтожными, но прекрасными идеями, чтобы разорвать очарование одиночества. Королевство счастливых фантазий должно принадлежать ему, вкупе с вратами, запертыми от нежелательных гостей; вратами, которые не распахнутся ни перед кем, кроме покоряющего прикосновения женского поцелуя! Ибо главный ключ любви должен отпирать все двери, включая и двери мечтаний менестреля!

– Ты так думаешь? – лениво проговорил Сах-Лума, слегка поворачивая свою тёмную, изящную голову на бледно-розовой атласной подушке. – Нет, по правде сказать, были времена, когда я мог изгнать женщину из своих мыслей, как обычный раздражитель прозрачного эфира поэзии, в котором купается мой дух. Есть в любви некое неудобство, которое заключается в том, что прекрасные человеческие бабочки слишком часто утомляют цветок, чей мёд так стремятся испить. Тем не менее страсть любви несёт в себе определённое удовольствие, и я ему поддаюсь, когда оно меня увлекает, равно как я уступаю и прочим приятным ощущениям, однако есть люди, которые неблагоразумно хранят свою страсть слишком долго и превращают любовь из забавы в убожество. Многие умрут ради любви – все они глупцы! Умереть ради славы, ради известности – это я могу понять, но ради любви!.. – он засмеялся и, подхватив раздавленный лепесток розы, он подбросил его в воздух одним пальцем: – Я бы скорее умер ради этого погибшего лепестка, чем ради скоротечной женской красоты!

На этих словах вошла Нифрата, неся золотой поднос с высоким кувшином, двумя кубками и корзиной фруктов. Она подошла сначала к Теосу, и он, приподнявшись на локте, оглядывал её с новым восхищением и интересом, пока она разливала вино по кубкам, бывшим, как он заметил, инкрустированными орнаментом из множества маленьких бриллиантов.

Он был поражён печальностью её красоты, и, когда она стояла перед ним с опущенными глазами, румянец отчётливо вспыхнул и поблёк на её щеках и её грудь беспокойно вздымалась под свободно ниспадающими складками розового одеяния; необъяснимое чувство жалости охватило его, словно он вдруг узнал о какой-то её внутренней скорби, которую он был совершенно не способен утешить. Он заговорил бы, но не смог найти подходящих слов, и когда он выбрал отличный персик из предложенной ему горы фруктов, то всё ещё продолжал

смотреть на неё. Когда она повернулась к улыбавшемуся Сах-Луме, он приказал ей поставить серебряный поднос на низкий бронзовый столик рядом с собою. Она так и сделала и с горящим румянцем на щеках молча стояла в ожидании. Сах-Лума лёгким движением принял полусидящую позу и, обхватив её за талию, притянул к своей груди и поцеловал.

– Мой прекраснейший лунный лучик! – сказал он весело. – Ты такая же тихая и спокойная, как и твои ещё не воплощённые сёстры, что бегут по небесам и танцуют на реке, когда мир спит! Мирт! – и он оторвал веточку от цветка на груди её платья. – К чему тебе венок поэта? Клянусь, ты, словно этот Теос, решила носить веточку из моей увядшей короны ради собственной радости, не так ли? – Горячий болезненный румянец залил лицо Нифраты, влага подавленных слёз заблестела в её глазах; она ничего не ответила, но лишь умоляюще глядела на маленький цветок в руках Сах-Лумы. – Глупое дитя! – продолжал он лениво, помещая его обратно на её разрывавшуюся от страха грудь. – Ты радуешься мёртвым листьям, освящённым песнью, раз думаешь, что они чего-то стоят, но я бы предпочёл видеть бутон розы любви на твоей прекрасной белой груди, чем отброшенные лавры славы!

И, налив себе кубок вина, он поднялся, глядя на Теоса с улыбкой.

– За твоё здоровье, мой благородный друг! – воскликнул он. – И за радости уходящего часа!

– Мудрый тост! – ответил Теос, прикладываясь к своему кубку. – Ибо прошедшее – в прошлом, оно уже никогда не вернётся, а будущее нам неведомо, так что лишь настоящее мы можем назвать своим! За здоровье божественного Сах-Лумы, чья слава – моя радость! Чьей дружбой я дорожу, как жизнью!

И с этими словами он выпил вино единым глотком до последней капли. Едва он сделал это, как им овладело самое необычное чувство: ощущение удивительного экстаза, словно он выпил какой-то сладкий нектар или волшебный наркотик, который внезапно привёл его нервы в состояние неописуемого возбуждённого блаженства. Кровь побежала стремительнее по его венам, он чувствовал, как мгновенно вспыхнуло лицо ярким жаром, он рассмеялся, когда отставил пустую чашу и, бросившись обратно на великолепные подушки, он встретился глазами с ярким, понимающим взглядом Сах-Лумы. Странно было видеть, насколько быстро Сах-Лума возвратил ему этот взгляд, как искренне и как скоро их дружба переросла в нечто большее, даже чем братский союз! Нифрата, тем временем, молча стояла в стороне, с печальным блуждающим взглядом, переходящим

с одного на другого в каком-то сомнении и удивлении. Вдруг она заговорила, склонив прекрасную головку в сторону Сах-Лумы.

– Повелитель пойдёт сегодня во Дворец, чтобы голос его зазвучал в присутствии короля? – спросила она застенчиво.

– Конечно, Нифрата! – отвечал Лауреат, нежно приглаживая свои волосы. – Меня вызвали туда королевским приказом. Но что же с того, малышка? Ты ведь знаешь, это нормальное явление; королевский двор теряет всякую прелесть и красоту, когда Сах-Лума молчит.

– Гость моего повелителя пойдёт с ним? – мягко поинтересовалась Нифрата.

– Ах, несомненно! – и Сах-Лума улыбнулся Теосу. – Ты же будешь сопровождать меня на приёме короля, друг мой? Он примет тебя ради меня и, хотя по правде, его величество по большей части невежественен во всём, кроме искусства любви и ведения войны, тем не менее он не только король, но и человек, и ты найдёшь его гостеприимным и добродушным хозяином.

– Я пойду с тобой, Сах-Лума, куда угодно! – быстро отвечал Теос. – Ибо, следование за таким гидом доставит мне самое большое удовольствие.

Нифрата в задумчивости поглядела на него с каким-то печальным выражением в прекрасных глазах.

– Присутствие моего господина Сах-Лумы поистине приносит радость! – сказала она мягко и с дрожью в голосе. – Но радость эта слишком сладкая и краткая, ибо, когда он уходит, никто не может заполнить оставшейся пустоты!

Она замолчала; пристальный взгляд Сах-Лумы покоился на ней, полунежный-полунасмешливый свет струился из-под тени его длинных, шёлковых, чёрных ресниц; она поймала его взгляд, и слабая дрожь пробежала по её хрупкой фигурке; она прижала одну руку к сердцу и продолжала более спокойным и ровным тоном:

– Мой повелитель, быть может, не слышал об утренних волнениях в городе? Взбунтовавшаяся чернь на рыночной площади, нелепые слова пророка Хосрулы? Неожиданные аресты и заключение в темницу многих людей, и последовавший гнев короля?

– О боги, нет! – ответил Сах-Лума, легкомысленно зевая и устраивая голову поудобнее на подушках. – И меня не заботит волнение черни, которая не может контролировать себя, но при этом противится всякому руководству. Аресты? Заключения? Это не редкость, но почему, во имя священного Покрова, не арестуют они и не посадят в темницу истинных возмутителей спокойствия – колдунов и философов, чьи уличные выступления

просачиваются в умы недовольных, призывая их к бесполезному бешенству и беспорядкам? Почему вместо всех прочих не схватят они Хосрулу – истинного безумца – за все долгие годы его притворного мудрствования? Не он ли обличал веру Нагая и предсказывал разрушение города бессчётное множество раз? И не все ли мы смертельно устали от его высокопарных речей? Если бы король считал важным делом защиту поэтов, то он уже давно замкнул бы этого бородатого пустобая в четырёх стенах донжона, где только крысы и пауки внимали бы его проповедям о приближающемся роке!

– Нет, но мой повелитель! – скромно отважилась проговорить Нифрата. – Король не смеет наложить рук на Хосрулу…

– Не смеет! – рассмеялся Сах-Лума, лениво протягивая руки и беря сочный нектарин из корзины рядом. – Милая Нифрата! Ты ограничиваешь власть короля? Равно как и накладываешь рамки на воображение поэта! Хосрулу могут любить и бояться лишь определённые суеверные глупцы, взирающие на безумца как на некое священное животное, но основное население Аль-Кириса – люди, составляющие кровь, кость и сухожилия города, – против перемен в религии, законах, традициях или обычаях. Но Хосрула стар, и то, что король терпит его причуды, есть лишь следствие уважения к возрасту и болезни, Нифрата, а не страха! Наш правитель не ведает страха.

– Хосрула предрекает ужасные вещи! – нерешительно пробормотала девушка. – Я часто думала о том, что, если они сбудутся…

– Ты пугливая голубка! – и Сах-Лума, поднявшись с кушетки, слегка поцеловал её в шею, тем самым вызывая нежный малиновый румянец, проступивший сквозь белизну её кожи. – Не думай больше о подобных глупостях, ты меня рассердишь. Какие-то догнивающие старики, подобные Хосруле, ещё будут нарушать спокойствие Аль-Кириса Великолепного! Клянусь богами, это полный абсурд! Не желаю больше слышать ни о черни, ни о бунтах, душа моя отвергает даже намёки на разногласия. Успокойся! Божественное спокойствие, нарушаемое лишь трепетанием крыльев мысли, парящей среди безоблачных небес фантазии! Лишь это одно есть центр средоточия всех моих желаний. И сегодня я понял, что даже ты, Нифрата, – здесь голос его стал обиженным, – несколько расстроила умиротворение моего ума этими глупыми разговорами о неприятном общественном окружении.

Он резко замолчал, и между его бровями появилась черта, отмечавшая раздражение и гнев. Нифрата, заметив его выражение, внезапно бросилась к его ногам и, подняв любящий

взгляд, исполненный слёз, воскликнула:

– Мой повелитель! Прости меня! Поистине, тебе не следовало слышать о вражде и раздорах среди грубых мужланов! Я, бедная Нифрата, пожертвую жизнью, чтобы защитить тебя от малейшей тени зла! Голос её сорвался, она поцеловала его сандалии и рванулась прочь из комнаты.

Сах-Лума посмотрел ей вслед с нежностью и замешательством.

– Всегда она такая! – сказал он с притворным смирением. – Как я тебе и говорил, Теос, женщины – бабочки, не знающие своих желаний. Нифрата – женщина-загадка: иногда она меня злит, а иногда успокаивает. Сейчас она говорила о вещах, которые меня не касаются, да ещё с такой легкомысленностью, возвышенностью и искренней верой, что я слушал её с удивлением и гадал, где она набралась этой мнимой мудрости.

– Любовь научила её всему, что она знает! – прервал его Теос.

Сах-Лума рассмеялся.

– Ай, бедное нежное дитя, она меня любит! – сказал он беспечно. – В этом нет тайны! Но, когда все женщины меня любят, я предпочёл бы умереть от избытка любви, чем от чего-либо ещё. Идём! Уже закат – в моём саду есть зелёный холм, откуда мы увидим всю пышность и великолепие заходящего золотого бога. Это зрелище я никогда не пропускаю, и я хотел бы разделить его с тобой.

– Но, в таком случае, не безразличен ли ты к женским ласкам? – спросил Теос. – Неужели ты никого не любишь?

– Друг мой, я люблю себя! Я не нахожу ничего более приятного, чем собственная личность, и от всего сердца я восхищаюсь чудом и красотою собственного существования! Нет ничего прекраснее в женщинах, чем их созерцание моего гения, сознание собственной силы и очарования! Жизнь такого поэта, как я, – это вечное чудо! Вся вселенная подчиняется моим требованиям; человечество становится простым рабом капризов моего величественного воображения; силой мысли я поднимаюсь к звёздам; одним желанием воспаряю к высшим сферам, неизведанным, но знакомым моей фантазии; я беседую с душами цветов и фонтанов; и любовь женщины – лишь капля в глубоком океане моего безмерного наслаждения! Да, я обожаю свою необычайность! И откровенное самопоклонение есть единственная вера, которой мир искренне следует до конца!

Он поднял взгляд с яркой, самоуверенной улыбкой. Теос встретил его с удивлением и сомнением, но ничего не ответил, и вместе они зашагали медленно через мраморную террасу и дальше, вглубь прекрасного сада, наполненного буйными

розами, что карабкались и цвели повсюду, оживая глубоким огненным цветом в лучах горящего заката.

Глава 14. Печать Верховной Жрицы

Они недолго шагали плечом к плечу без слов по прохладным дорожкам чередовавшихся света и тени, под прикрытием переплетённых зелёных ветвей, в которых лишь любовные трели очаровательных птиц то и дело разрывали тишину столь подходящим обстановке нежным пением. Весь воздух вокруг них благоухал тонкими ароматами; нежные радужные насекомые порхали и танцевали в тёплых лучах заката, как золотые искры в янтаре вина; между тем, повсюду отдалённый блеск взрывных фонтанов или мягкое изумрудное сияние бормочущих ручейков, которые петляли по земле меж поросших мхом и склонившимися папоротниками берегов придавало приятное ощущение прохлады и свежести яркой зелени роскошного пейзажа.

– Говоря о верованиях, Сах-Лума, – наконец вымолвил Теос, глядя на своего собеседника с неясным чувством сострадания и обеспокоенности, – какая религия преобладает в этом городе? Сегодня, хоть и по незнанию, я нанёс непростительную обиду тем, что глазел на прекрасную Верховную Жрицу, в то время как должен был пасть ниц во время её благословения. Ты должен поведать мне об общепринятых обычаях вероисповедания, чтобы я в своей слепоте снова не ошибся.

Сах-Лума улыбнулся.

– Общепринятые обычаи вероисповедания – это общепринятые законы традиций, – отвечал он, – не больше, не меньше. И в этом мы во многом похожи на прочие народы. У нас нет никакой истинной веры – а у кого она есть? Мы принимаем некое данное нам определение гипотетичного Божества вместе с соответствующими сентенциями и кодексом морали, сопровождающими это определение. Мы называем это религией и облачаемся в неё, как в одежды, из необходимости и ради благопристойности, хотя, по правде, мы и вполовину так не привязаны к ней, как к гораздо более интересным вещам вроде вкуса и одежды. И всё же мы привыкли к своей вере, и некоторые из нас будут драться с другими из-за одного неосторожного слова; и поскольку вера наша содержит массу противоречий и недомолвок, то подобные столкновения нередки, в особенности среди жрецов, кто, будь они искренними последователями своего призвания, должны бы были отыскать пути сглаживания всех кажущихся несоответствий во имя поддержания мира и порядка. Конечно, мы вместе со всем цивилизованным обществом поклоняемся Солнцу, как и вы, должно быть, в одном этом главенствующем принципе наша религия универсальна!

Теос склонил голову в согласии. Он едва ли осознавал своё движение, но в тот момент он ощущал вместе с Сах-Лумой, что не было иной формы Божества в мире, кроме сияющего шара, что согревает и освещает землю и явственно управляет сменой сезонов.

– При этом, – задумчиво продолжал Сах-Лума, – мы располагаем достоверным знанием наших учёных и астрономов (многие из которых сейчас гниют в тюрьме за смелость их исследований и открытий) о том, что Солнце – никакое не божество, а всего лишь огромная звезда – плотное тело, окружённое горящей атмосферой, – одно из множества подобных себе тел, движущихся по орбитам в строгом соответствии с математическими законами. Тем не менее эти знания предусмотрительно хранятся подальше от народа, ибо там, где наука слишком быстро раскрывает свои чудеса перед полуобразованными и пошлыми умами, в результате сначала зарождается атеизм, затем республиканизм, а в конце концов анархия и разруха. И коль скоро этих бед, – которые, словно хищные птицы, вечно кружат над великими царствами, – следует избегать, то мы должны ради благополучия страны и народа строго придерживаться некоторых постулатов и внешних ритуалов религии.

Он замолчал. Теос вскинул на него выжидательный взгляд.

– Даже если эта религия не имеет в себе ни тени истинности? – спросил он. – Хорошо ли для человека суеверно цепляться за ложное учение?

Сах-Лума, казалось, несколько минут размышлял над его вопросом про себя перед тем, как ответить.

– Друг мой, сложно решить, что есть ложь, а что истина; но я думаю, что даже неистинная религия лучше для масс, чем вообще ничего. Люди очень близки к скоту: когда нравственное чувство перестаёт их сдерживать, то они немедленно выскакивают за все границы и дают столько же воли своим страстям и желаниям, сколько и тигры с гиенами. И в некоторых нравственность держится лишь на живом страхе – страхе обидеть некую деспотичную, незримую силу, которая правит вселенной и чья главная и самая ужасная составляющая – это не созидательная, а разрушительная мощь. Умилостивить и ублажить Верховного Разрушителя – есть цель всех религий, и именно по этой причине мы добавили к нашему культу Солнца ещё и Белую Змею – проводника воли Нагая. Нагая – излюбленный объект человеческого обожания, они могут позабыть воздать хвалы Солнцу, но только не Нагая, кто рассматривается как символ вечной мудрости, единственный защитник, чьи убеждения

смягчают тираническое настроение незримого Пожирателя всего сущего. Нам известно, насколько люди ненавидят мудрость и ненавидят учиться, и всё же они толпами падают ниц пред символом мудрости каждый день в священном Храме вон там, хотя я весьма сомневаюсь, не относится ли столь набожное поклонение скорее к Лизии, чем к обожествлённому червю!

И он рассмеялся, сверкнув взглядом.

– А Лизия – это?.. – начал Теос вопросительно.

– Верховная Жрица Нагая, – медленно отвечал Сах-Лума, – чаровница господа, равно как и людских сердец! И пока она сохраняет свою красоту, культ Нагая будет держать Аль-Кирис в узде. А дальше – кто знает? В прошлом было немало бунтарей, проповеди философов вызывают некоторые недовольства, и сегодня есть те, кто устал от постоянных жертвоприношений и сокрытия невинной крови. Кроме того, этот безумный Хосрула воздвигает злобные обвинения против Лизии и Нагая в открытую, да так громко, что проходящие мимо не могут оставаться глухими к ним. У него странное помешательство: учение о будущем, о котором он так яростно вещает на языке пророков. Он утверждает, что далеко, в центре Круга Света, существует Бог – величественное существо, кто своей всепобеждающей чудесной любовью управляет всем творением, ведя его к некоему магическому завершению. В дальнейшем, спустя тысячи лет, этот Бог воплотится в человеческом теле и образует удивительное существо: получеловека-полубога, чтобы прожить нашей жизнью и научить нас на своём примере кратчайшему пути к счастью. Эта теория одновременно очень странная и дикая! Ты когда-нибудь слыхал о ней?

Он задал этот вопрос безразличным тоном, но Теос молчал. Им овладело чудовищное желание говорить, он чувствовал, что его душили слёзы.

– Я думаю… Я слышал о подобном учении, но я знаю о нём не более твоего, Сах-Лума! Мне кажется не совсем невероятным учение о божественной доброте, ибо если есть Бог, то Он должен возвещать о Себе во многом: в большом и малом, в привычном и чудесном; хотя, по правде, нет никакого чуда в том, что кажется таковым нашим ограниченным зрению и разуму. Но раскрой же мне, Сах-Лума, твои собственные мысли по этому поводу!

– Мои? У меня нет никаких мыслей по этому поводу! – отвечал Сах-Лума с легкомысленным презрением. – Подобная вера может найти последователей в будущем, но сейчас к чему предупреждать нас о вещах, не относящихся к настоящему? Кроме того, моё отношение к любой религии неизменно, я слишком глубоко изучал науки, чтобы достоверно знать: никакого бога нет!

И я слишком честен, чтобы поклоняться загадочной и просто предположительной личности!

Ледяная дрожь прошила тело Теоса и, будто вдохновлённый неким невидимым зрителем, он проговорил почти скорбно:

– Ты уверен, Сах-Лума? Не чувствуешь ли ты инстинктивно, что есть высшая сила, сокрытая за вуалью видимой природы? И что там, за гранью, может оказаться вечная радость, где твои величайшие ожидания наконец исполнятся?

– Ах ты, возвышенная душа! – вскричал он весело. – Мои ожидания уже исполнены! Я не стремлюсь ни к чему иному, кроме славы, и то, чего я достиг, я буду удерживать, пока светит солнце!

– И какая же польза от славы после смерти? – спросил Теос.

– Прошу тебя не огорчать меня, друг мой! – пробормотал он с дрожью. – Подобные мысли – словно раскат грома на небесах моего счастья! Смерть! Она разобьёт мою арфу и моё сердце! Станет последней нотой моего навечно умолкающего голоса и песни!

– Ты должен возродиться, Сах-Лума! – это было всё, что он мог сказать. – Внутри тебя живёт пламя, которое никогда не погибнет!

– Твои слова полны утешения! – сказал он весело и печально одновременно. – Да исполнятся они! Смотри! – и он указал на маленький зелёный холмик, что вздымался сверкающим изумрудом среди тёмной листвы окружающих деревьев. – Вон там место, откуда я наблюдаю за закатом солнца, как за воином, падающим на красном поле битвы, колокола даже сейчас звонят по его отходу – прислушайся!

Они стояли молча, пока смешанный мелодичный звон колоколов не донёсся из тишины; колокола всех тонов наполняли воздух мягким и громким резонансом, когда слабый ветерок доносил до них звуки; и тогда они начали взбираться на холм, Сах-Лума шёл впереди своей лёгкой и гибкой походкой молодого оленя. Трава у них под ногами была мягкой и бархатистой, усеянной мириадами диких цветов; аромат стоял приятный и ненавязчивый, и через несколько минут они достигли вершины, где Сах-Лума, бросившись на гладкую траву, пригласил Теоса присоединиться.

Здесь они отдыхали в тишине, глядя на великолепную панораму, раскинувшуюся перед ними, – панораму, столь же прелестную, сколь и изящно выписанная сцена из сказки. Вверху – небо было яркое и вместе с тем дымчато-розовое; солнце, висевшее низко над западным горизонтом, казалось, покоилось в обширной, пурпурной, глубокой пустоте, тут и там

возмущаемой золотистой рябью; длинные лучи света устремились вверх, подобно развивающимся знамёнам армии марширующих ангелов; и далеко за пределами этого моря великолепного цвета широкое воздушное пространство бледнело до нежной голубизны, где лёгкие розовые и белые облачка дрейфовали, как трепещущие цветки, опадающие с яблоневых деревьев по весне.

Внизу, видимый сквозь розово-янтарную дымку, раскинулся город Аль-Кирис с его белыми куполами, башнями и остроконечными дворцами, вздымавшимися из тумана, как прекрасный мираж, парящий на границе разгорячённой пустыни. Аль-Кирис Великолепный! Он заслуживает своего названия, думал Теос, когда, прикрывая глаза от слепящего алого света, он с удивлением рассматривал огромную панораму города. Вскоре он заметил, что город окружали шесть хорошо укреплённых стен – каждая внутри другой, отстоявших друг от друга на равном расстоянии, так что можно было справедливо назвать всё это шестью городами друг в друге. И со своего места он мог отчётливо различить огромную площадь, где отдыхал утром, благодаря белому гранитному обелиску, что возвышался отвесно вверх, к небесам, не заслоняемый никакими окружающими домами.

Этот гигантский монумент был самым выдающимся объектом в поле зрения, за исключением священного храма – круглого, подобного крепости архитектурного сооружения, украшенного двенадцатью позолоченными башнями, на которых теперь звонили колокола со штормовой мелодичной настойчивостью.

Совершенно очарованный волшебной красотой пейзажа, Теос подумал, что мог бы вечно смотреть на него, но так и не исчерпал бы всего его очарования, и, ещё раз подняв взгляд к солнцу, он заметил, что оно почти уже исчезло. Лишь прозрачная кроваво-красная кайма виднелась над золотисто-зелёным горизонтом, и прямо над нею серебристый разрыв в небесах медленно расширялся от центра и сужался к концу, таким образом принимая форму огромного простёртого меча, указующего прямо вниз, на деловой, говорливый, сверкающий город под ним. Это был чудной образ, и он производил странное впечатление на Теоса; он уже собирался привлечь к нему внимание Сах-Лумы, когда к нему пришло досадное понимание того, что они более не были одни; инстинктивно он повернулся, издав восклицание и быстро выпрямившись, и оказался лицом к лицу с огромной тенью – с человеком около шести футов ростом и мускулистого телосложения, который был одет в жилетку и тунику ярчайших алых цветов и который, встретив его взгляд, плотоядно уставился на Теоса. Сах-Лума тоже

поднялся, но с меньшей поспешностью, глядя на незваного гостя лениво и с явным высокомерием.

– Что ещё, Газра? Вечно ты, как червь в траве, подкрадываешься тише летнего ветерка. На месте твоей хозяйки я бы завёл более приятного посланника!

Чернокожий мужчина улыбнулся и, медленно подняв свои мощные руки, увешанные нитями кораллов и янтаря, приветствовал их наполовину командным жестом ладони. При этом оливковые щёки Сах-Лумы вспыхнули ярким румянцем, грудь раздулась, и он слегка опустил голову и замер в позе вынужденного внимания. Когда Газра заговорил, то его резкий, громкий голос, казалось, исходил из какого-то дьявольского подземелья, а не из человеческого горла.

– Верховная Жрица Солнца и божественного Нагая желает видеть тебя сегодня, Сах-Лума! – сказал он и, сняв с груди блестящее, как звезда, кольцо, он положил его на раскрытую ладонь. – А также твоего чужестранного друга, кого она изволила почтить приветствием. Прими её печать!

Теос немедленно схватил бы кольцо, чтобы получше рассмотреть, не удержи его Сах-Лума крепко за руку, так что он смог лишь заметить, что оно имело форму свернувшейся змеи с рубиновыми глазами и с поднятым языком, усыпанным маленькими камушками. Но что больше всего поразило Теоса, была необычайная перемена в поведении Сах-Лумы, что-то в выражении и речи Газры явно на него сильно повлияло. Его тело дрожало от едва сдерживаемого волнения, глаза загорелись почти яростным огнём, и холодная, спокойная, почти жестокая улыбка заиграла на прекрасных губах. Принимая печатку от Газры, он поцеловал его руку с какой-то неистовой нежностью, а потом ответил:

– Передай своей хозяйке, что мы подчиняемся её воле! Несомненно, ей известно, что сегодня я уже приглашён во дворец короля. Я подчиняюсь в первую очередь ему, ибо таков мой долг, а затем… – Он замолчал, найдя невозможным подобрать дальнейшие слова, и слегка взмахнул рукою, подавая знак, что посланник свободен. Но Газра не сразу ушёл. Он ещё раз улыбнулся той своей унижающей улыбкой, которая походила на оскал повешенного преступника в петле, и возвратил драгоценную печать к себе на грудь.

– Затем?! Да, затем! – отвечал он выраженно насмешливым тоном. – Даже так!

Приблизившись на шаг, он положил свою тяжёлую, сильную руку на грудь Теоса и, казалось, мысленно оценил его рост и ширину плеч. – Крепкие нервы! Стальные сухожилия!

Добротная плоть и кровь! Она нам пригодится! – и его огромные, проницательные глаза сверкнули злобой. Затем с глубоким поклоном он проговорил, обращаясь к Сах-Луме и Теосу сразу: – Благородные господа, сегодня вам будут завидовать больше, чем кому-либо ещё во всём Аль-Кирисе! Прощайте!

И он попятился на несколько шагов, окружённый ярким сиянием закатного солнца, которое усиливало интенсивные цвета его костюма и воспламеняло чистый янтарь, огнём горевший на смуглой коже; потом он спустился с холма столь стремительно, что, казалось, исчез на глазах, как тёмный туман рассеивается в воздухе.

– Клянусь жизнью, это самый мерзкий черномазый посланник! – легкомысленно рассмеялся Теос. – И я так и не понял сокрытого смысла его сообщения!

– Он вполне очевиден! Нас вызывают, тебя и меня, на полуночный праздник Лизии – честь, выпадающая немногим! – приказ этот не потерпит ослушания! Она, должно быть, заметила тебя этим утром – единственного стоящего на ногах человека среди павшей ниц толпы, поэтому, вероятно, теперь она и желает твоей компании.

В его голосе прозвучал намёк на недовольство, но Теос этого не заметил. Сердце его с силою рванулось в груди, словно в него вонзилась горящая стрела; образ томной, очаровательно прекрасной женщины в золотых одеждах, казалось, всплыл перед ним, заслонив свет; и губы его дрожали, когда он отвечал:

– В таком случае она должна быть столь же благородной и милостивой, сколь и прекрасной! Ибо после моего пренебрежительного отношения я заслужил презрения, а не вежливости. Но скажи мне, Сах-Лума, как ей стало известно, что я твой гость?

Сах-Лума одарил его полунасмешливым взглядом.

– Как ей стало известно? Легко! Так же, как она узнаёт и обо всём прочем! Было бы странно, если бы она не узнала! – и он подхватил с земли ароматную розу и раздавил её прекрасный бутон в каком-то беспричинном раздражении. – Сам король знает меньше о занятиях своих подданных, чем Всевидящее око! Ты ещё не видел этого странного и могущественного гипнотизёра человеческих глаз, но ты увидишь его вскоре – сверкающий хранитель – исчадие ада на белой груди, навечно замкнутой в страстях! Да, у Лизии повсюду тайные шпионы, которые докладывают ей о каждом незначительном происшествии, и, несомненно, за нами следил, когда мы шли к дому, один из её неслышных преследователей. В этом нет ничего необычного.

– В таком случае в Аль-Кирисе нет свободы, – с удивлением

заметил Теос, – если весь город находится во власти осмотрительной женщины!

Сах-Лума рассмеялся ещё резче.

– Свобода! Клянусь богами, это обманчивое слово выражает пустую идею! Где в жизни есть свобода? Каждый из нас так или иначе скован цепями по рукам и ногам; человек, который считает себя свободным от политики, есть раб большинства и собственных амбиций, ибо, стряхивая с себя путы обычаев и веры, он попадает в рабство страстей, крепко связанный тугими верёвками собственных необузданных фантазий и желаний. Нет никакой свободы, друг мой, мы обретаем её разве что в смерти! Идём к ужину, становится поздно, и на сердце моём лежит невыносимая тяжесть; нужно расслабиться за кубком вина, иначе моё пение сегодня скорее огорчит, чем обрадует короля. Идём, и ты снова будешь рассказывать мне о будущей жизни! Ведь грядут времена, поверь мне, когда, несмотря на всю мою славу и прелесть моего существования, я устану от земной жизни и окажется, что век мой слишком краток, чтобы удовлетворить все мои страсти. Не мир, а миры должны стать наследием поэта!

Теос посмотрел на него с сожалением, но ничего не ответил. И вместе они поднялись по ступеням величественной мраморной террасы и медленно прошагали через неё, держась близко друг к другу, словно материя и её тень, и внутри дворца лишь отдалённый звук арфы тревожил спокойствие ароматного воздуха. Должно быть, Нифрата играет, подумал Теос, и какие странные и жалостливые аккорды выжимает она из дрожащих струн! Они будто политы слезами женщины с разбитым сердцем, погибшей и похороненной столетия назад!

Глава 15. Песнь Сах-Лумы

Когда они покинули сад, настала ночь, словно враз нахлынув с пугающей неожиданностью, и одновременно дворец Сах-Лумы засветился из конца в конец тысячью цветных ламп, судя по всему зажжённых единственным электрическим импульсом. Великолепный ужин был подан для Лауреата и его гостя в просторном, богато украшенном пиршественном зале, роскошный ужин, способный удовлетворить самого горячего последователя эпикурейства. Богатые яства с изысканными винами подавали им в поистине княжеском изобилии, и, пока друзья ели и пили, нежная струнная музыка звучала для них в исполнении невидимых музыкантов. В перерывах между приятными мелодиями Сах-Лума развлекал гостя увлекательными речами и искромётными шутками, и Теос почувствовал, что никогда ещё не получал такого удовольствия от праздника жизни. Единственным недостатком было то, что он слишком быстро закончился; и когда последнее блюдо с фруктами и сладостями убрали, он нехотя поднялся и приготовился сопровождать своего хозяина к королю.

Вскоре они оказались на широких проспектах Аль-Кириса, двигаясь к королевскому дворцу. Теос занял место в колеснице Сах-Лумы – позолоченной повозке в форме половинки ракушки, установленной на паре высоких, почти бесшумных колёс; сидений в ней не было, и оба они стояли прямо, и Сах-Лума сосредоточенно правил двумя чёрными, как смоль, конями, которые не раз сорвались бы в галоп, если бы ни умелая рука их хозяина.

Постепенно восходила полная луна на небо, ярко-фиолетовое, как лепестки анютиных глазок, но её мощный свет был почти посрамлён сиянием улиц, которые подсвечивались с обеих сторон разноцветными лампами, работавшими от накопленной электрической энергии. На двенадцати высоких башнях священного Храма горели двенадцать огромных звёзд, которые, поворачиваясь, излучали живое голубое, зелёное и янтарное свечение, словно сигналы маяка; и отражения от мозаичной мостовой, смешиваясь с бледными лучами луны, придавали странный и самый фантастический вид всей сцене. Прямо перед ними пылающая арка вздымалась, как изогнутый к небу лук, и в центре её виднелась надпись: «Зефораним», выведенная огненными буквами, сообщающая всем читателям имя и место жительства могущественного монарха, под чьей властью, согласно словам Сах-Лумы, Аль-Кирис достиг

нынешнего высокого положения, богатства и благополучия.

Это была истинная слава! И Теос пару раз вздохнул, глядя на Сах-Луму, внутренне понимая, насколько бедными и слабыми были его собственные поэтические дарования. Не то что он желал бы скрестить мечи с Сах-Лумой в песенном состязании, но он просто ощущал некую приниженность – чувство, будто он ещё и не был поэтом вовсе, а должен был бы начать изучать искусство с самого сначала.

В этот момент экипаж прибыл к дворцу. Натянув поводья так, что лошади чуть ли не встали на дыбы, Сах-Лума быстро направил их в просторную конюшню, охраняемую солдатами в полном вооружении и великолепно освещённую, где пара гигантских каменных сфинксов охраняла пролёт лестницы, которая восходила к бесконечной белой мраморной колоннаде. Здесь рабы в богатых нарядах рванулись навстречу и крепко удерживали коней, пока Лауреат и его друг высаживались. При этом могучий звонкий лязг оружия отразился от каменных дорожек: все солдаты побросали своё оружие на землю и снимали шлемы, выкрикивая единым громким мужским хором:

– Слава Сах-Луме!

Сах-Лума поднялся на половину лестничного пролёта и там повернулся, улыбнувшись и поклонившись с неповторимым изяществом и бесконечной снисходительностью. Белые его одежды искрились драгоценностями, и с его плеч, перехваченный сапфировой заколкой, свисал длинный плащ из золотой ткани, изящно подбитый лебединым пухом. Затем он быстро взлетел наверх вместе с Теосом и арфоносцем и пропал в огромном парадном зале королевского дворца, известном как Дворец Двух Тысяч Колонн.

Здесь, среди огромных резных колонн, казавшихся прямыми, высокими, застывшими стволами деревьев, собрались сотни людей – молодых и старых – истинных аристократов высшего общества, судя по великолепию их костюмов; через их сверкающие ряды сновали маленькие пажи в алом и голубом; чёрные рабы, полуголые или наряженные в яркие цвета; должностные лица с драгоценными знаками отличия и символами власти; военные, облачённые в стальные доспехи и с короткими ятаганами; и все они смеялись, говорили, жестикулировали и толкались локтями, двигаясь по залу; и они так плотно были зажаты здесь, что при первом взгляде казалось невозможным проникнуть внутрь столь плотной толпы, но, как только появился Сах-Лума, все они расступились ровными рядами, создав таким образом свободный проход для него.

Он медленно шагал с уверенной улыбкой, кивая направо

и налево, отвечая на уважительные приветствия собравшихся; многие вопросительно поглядывали на Теоса, но, поскольку он был сопровождающим Лауреата, его приветствовали с таким же почтением. Старый критик Забастес, протиснувшись через толпу, хромал позади Сах-Лумы на некотором расстоянии от арфоносца, бормоча что-то себе под нос на ходу.

– Сегодня тебе лучше следить за своим языком, Забастес! – сказал прекрасный юноша в ослепительном голубом с серебром одеянии. – Сомневаюсь, что король нынче в настроении выслушивать твои мрачные глупости! Его величество серьёзно расстроен после возвращения с королевской охоты утром, и несмотря на то что метко сразил двух свирепых животных, он удивительно печален, и лишь божественный Сах-Лума способен утешить его смятённый дух. Поэтому, если ты имеешь сказать нечто сварливое против гения моего хозяина, то лучше оставь это до следующего раза, иначе голова твоя покатится по рыночной площади, как сушёная тыква!

– Благодарю за предупреждение, молодой выскочка! – отвечал ему Забастес. – Ты, мнится мне, неплохо осведомлён для низкого лакея! Что ты можешь знать о настроении Его Величества? Я попрошу тебя не замахиваться выше температуры воды в ванне и выбора редкостных притираний для кожи, ибо это может повредить нежную текстуру твоих ущербных мозгов! Ффу! – Забастес с отвращением втянул воздух – От тебя омерзительно несёт жасмином! Хотел бы я, чтобы ты отмылся от парфюмов и выказывал поменьше безвкусицы в стиле своей одежды!

Они шли вперёд вдоль бесконечной колоннады, пока не оказались у огромной двойной двери, состоящей из двух крылатых фигур с огромными щитами. Здесь стоял человек в серебряной кольчуге, который сначала показался частью декора двери, но с приближением Сах-Лумы он ожил, и от одного его прикосновения ру́ки двух статуй сдвинулись, огромные щиты медленно поднялись, и двери заскользили в стороны без шума, раскрывая роскошь королевской приёмной залы.

Это был просторный высокий зал, полностью оконтуренный позолоченными колоннами, между которых висели многочисленные золотые лампы, искрившие светом на великолепный мозаичный пол. На стенах висели богатые гобелены, изображавшие сцены любви и роскоши: прекрасные девы отдыхали в объятиях своих любовников или слушали любовные песни, а рядом с ними изображались воины, убитые на поле сражения или сражающиеся врукопашную насмерть. По углам этой удивительной комнаты были расставлены все виды

знамён и оружия, а в центре расписного потолка распростёрла крылья огромная птица – орёл с головою совы, – которая несла в кривых когтях великолепный канделябр, состоящий из сотни мечей, каждый из которых имел на конце лезвия яркую лампу в форме звезды, а рукоятки их соединялись в центре.

Офицеры в полном вооружении стояли рядами по бокам залы, и множество прочих людей находились здесь же, переговариваясь тихими голосами. Но взгляд Теоса вскоре приковал сверкающий шатёр в самом дальнем конце зала, где на массивном троне из слоновой кости и серебра восседал объект его внимания: король Зефораним. Ступени к трону были по щиколотку забросаны цветами, по обеим сторонам возлежали медные львы, и четыре гигантские чёрные статуи мужчин поддерживали навес с золотою каймой над монархом, расшитый бесчисленными рядами жемчужин. Лица короля видно не было, он лежал, откинувшись назад, опираясь на локоть и наполовину скрывая лицо одной рукой. Человек в серебряной кольчуге прошептал нечто на ухо Сах-Луме в качестве предупреждения или совета, а затем приблизился, пав ниц перед троном. Король слегка заинтересовался, но позы не поменял, он явно находился в гневном и недовольном настроении.

– Великий мой повелитель!.. – начал было герольд, но движение, выражавшее решительное нетерпение со стороны короля, заставило его умолкнуть.

– Клянусь богами! – сказал монарх, и голос его отчётливо разнёсся по всему залу. – Вечно ты ходишь вокруг да около, вместо того чтобы сразу перейти к сути дела! Ты можешь говорить прямо?

– О терпеливейший суверен! Сах-Лума ждёт внимания короля!

– Сах-Лума! – и монарх подпрыгнул, сверкнув огненным взглядом. – Ожидание на него дурно влияет, плут ты! Как ты посмел заставить его ждать? Со всей кротостью моли его войти, как это подобает равному мне!

Теос в это время более внимательно присматривался к нему; поистине ему показалось, будто внезапная пауза настала в действии всей драмы, чтобы дать возможность ему, как зрителю, тщательно вдуматься в смысл этой одной особенной сцены. Поэтому он воспользовался возможностью и, прямо глядя на Зефоранима, подумал, что никогда ещё не встречал столь прекрасного мужчины. Статный рост и телосложение атлета внешне придавали ему поистине королевский вид, хотя физиономист, оценивая его по выражению лица, немедленно приписал бы ему самые ужасные пороки закоренелого

сластолюбца и крайнего эгоиста. Его прямые, низкие брови свидетельствовали скорее о грубой силе, чем об интеллекте; глаза его, большие, тёмные и яркие, несли в себе выражение какой-то зловещей жестокости, несмотря на их прозрачность и блеск; тяжёлые линии рта, лишь отчасти прикрытые короткой, жиденькой чёрной бородкой, ясно говорили о том, что поведение монарха ни в коей мере не укладывалось в границы узких путей добродетели.

Тем не менее то был прекрасный образец человеческого животного в его лучшей физической форме, и одежда его, которая отражала смешение стиля воинственности и дикарства, определённо шла ему гораздо лучше, чем любому другому менее рослому представителю. Туника его имела глубочайший пурпурный оттенок и была расшита золотом; жилет бледно-янтарного шёлка распахнут, чтобы выставить на показ все преимущества его широкой, мускулистой груди и шеи, увешанной драгоценностями; и он носил перекинутую через левое плечо леопардовую шкуру, скрепленную заколкой с бриллиантами. Ноги его были обуты в золотистые сандалии; руки голы, не считая дорогих наручей; жёсткие чёрные волосы в беспорядке рассыпались по лбу, охваченному золотым обручем с огромными рубинами; с пояса свисал огромный меч в ножнах, в придачу со всевозможными охотничьими атрибутами; и позади него, на покрытом бархатом постаменте, лежал короткий скипетр, оканчивающийся одной огромной, в форме яйца жемчужиной в обрамлении сапфиров.

И тогда одна странная идея явилась в мозгу Теоса: он уже видел Зефоранима прежде! Где – он не мог бы сказать, но был совершенно в этом уверен. Однако времени на раздумья над этим у него не было, поскольку Сах-Лума наконец двинулся вперёд, приказав Теосу держаться у себя за спиной, арфоносец тоже последовал за ними, и так все трое приблизились к трону. Критик Забастес также проскользнул внутрь и слился с группой дворян в самом дальнем конце залы.

У подножия трона Сах-Лума остановился, но не поклонился, а улыбнулся, подняв взгляд, и Теос с удивлением понял, что здесь не поэт приветствовал короля, а король – поэта!

– Добро пожаловать, Сах-Лума! Я вспоминал о тебе весь день, поверь! И не вини меня за то, что я так поспешно послал за тобою! Но кто это здесь? Друг твой? Ему я тоже рад!

Сах-Лума объяснил что-то шёпотом, и король протянул руку с рубиновой печаткой – Теос поцеловал её с серьёзной почтительностью.

Зефораниму, казалось, понравилось такое действие, и он

поглядел на него внимательно, проговорив:

– Ты явно не из божественной братии Сах-Лумы, дорогой сер, иначе едва ли ты склонился бы перед королём! Поэты никому не кланяются! Мнится мне, ты слишком скромен для призвания менестреля! Ты обучаешься искусству пения?

– Благороднейший Зефораним, я не менестрель! И не заслуживаю этого звания! Всё, о чём я мечтаю, – это учиться у него, и тогда в будущем я, быть может, сумел бы приблизиться к его гению, как обычный земной цветок отдалённо напоминает высокую звезду в далёких небесах!

Сах-Лума улыбнулся и бросил на него довольный, благодарный взгляд; Зефораним поглядел на него с любопытством.

– Клянусь, ты скромный и почтительный ученик поэзии! – сказал он. – Мы с радостью принимаем тебя во дворце! Стань рядом со своим другом и учителем и послушай мелодию его неповторимого голоса, ты услышишь в ней тайны многих сокровенных вещей, и в особенности, тайну любви, в которой сходятся и усиливаются все прочие страсти.

И он снова лениво развалился на троне, а два пажа принесли великолепное кресло из слоновой кости и поставили его справа у подножия трона. На него уселся сам Сах-Лума, а Теос, слегка отступив назад, прислонился к гобелену с изображением мёртвого человека с пронзённым мечом сердцем и парящей над ним хищной птицей в ожидании своей мрачной трапезы. Преклонив одно колено рядом с Сах-Лумой, арфоносец настроил арфу и слегка провёл пальцами по струнам; настала тишина. Звонкий маленький колокольчик нежно зазвонил в тишине, и король, слегка приподнявшись, подал знак чёрному рабу, державшему высокое серебряное знамя.

– Пусть войдут женщины! – приказал он. – Назовите лишь имя Сах-Лумы – и они слетятся, как волны под восходящей луной; однако прикажите им молчать – чем меньше они напрягают свой разум, тем прекраснее становятся.

Спустя мгновение процессия прекрасных девичьих фигур скользящим, бесшумным шагом вплыла в зал, неся в руках гирлянды цветов, которые они сложили у ног поэта. Он был безразличен и задумчив, и снова настала тишина.

– Как странно, о король! – сказал он тихим голосом. – Сегодня душа моей песни покоится в печали! Как шальная птица летит посреди листопада, или корабль плывёт от солнечного света к шторму, так и моя фантазия витает в печали, рождаются дрожащие образы павших королевств, и я словно издали наблюдаю смертную тень…

– Не говори о смерти! – поспешно прервал его король. – Этот ворон слишком уж часто каркает мне в уши в последнее время! Не виделся ли ты часом с Хосрулой, кто недавно набросился на меня, как голодный волк на жертву, и приказывал мне готовиться к смерти! Это была дурная шутка, которую не так легко простить! «Готовься к смерти, Зефораним, – кричал он, – ибо близится час расплаты!»

– Ай, смерть – неприятное явление! – вдруг сказал Забастес, который постепенно подкрадывался, пока не оказался в группе людей прямо рядом с Сах-Лумой. – Это слово никогда не должно звучать в присутствии короля! И всё же, несмотря на недопустимость этой фразы, совершенно точно, что Его Величество, равно как и главный Лауреат его Величества, должны умереть! – И он сопроводил последние слова двумя решительными ударами трости.

– Как и ты, Забастес! – парировал король с мрачной улыбкой. – Ты тоже! И прах твой развеется по четырём ветрам, как это и пристало твоей профессии, в то время как твой хозяин и король будут с честью захоронены среди порфира и золота.

Забастес кивнул с каким-то насмешливым смирением.

– Вероятнее всего, так и будет, – сказал он спокойно. – Сколько же ещё ты будешь молчать, мой поющий император? – спросил он, повернувшись к Сах-Луме. – Сможешь ты исполнить любовную песнь, невзирая на печаль в твоей душе?

В ответ на это Сах-Лума поднялся, взял арфу в руки и слегка провёл пальцами по струнам, как бы размышляя и сомневаясь. Музыкальная рябь была ответом на это нежное прикосновение, музыка, столь же мягкая, сколь и вечерний ветерок среди листвы. В следующий миг его голос задрожал в тишине – голос удивительный, богатый, зрелый и исполненный скрытых слёз, напоённых страстью, которая проникала в самое сердце слушателя, и божественного совершенства, какое, несомненно, никогда ещё не звучало в человеческом тоне!

Теос вытянулся вперёд затаив дыхание, сердце его бешено забилось, ибо Сах-Лума запел его собственную песню! Он знал точно, что сам написал её много лет назад, во дни юности, когда ещё воображал, будто весь мир стоит в ожидании того, что он переложит его на музыку своим вдохновением! Сах-Лума не имел прав на эту балладу! Он, Теос, был её создателем, а не этот королевский лауреат, укравший его творение! Он попытался раскрыть рот – но голоса не было! Губы окаменели! Поражённый абсолютной немотой, но с обострившимся до предела слухом, он стоял прямо и неподвижно; ярость и страх заполняли его сердце, превращаясь в пытку поистине ужасающим непониманием

и осознанным отчаянием, вынуждая его пассивно слушать любовные излияния его собственного мёртвого прошлого, ожившие заново в песни его соперника!

Глава 16. Предвестник рока

Несколько долгих, тяжких минут истекли, и потом первая острота его странной душевной агонии миновала. Предельное напряжение нервов ослабло, и апатия горестного отчаяния овладела им. Он почувствовал себя человеком, таинственным образом проклятым, изгнанным из жизни и лишённым всего, что он когда-то считал дорогим и любимым. Как такое произошло? Почему он был отстранён, оставшись таким образом в одиночестве, бедности и пустоте, в то время как другой пожинал плоды его гения? Он услышал громкие аплодисменты собравшихся, сотрясшие огромный зал, когда Лауреат окончил песнь; и, опустив голову, неудержимые слёзы навернулись на глаза Теоса и обожгли его сложенные ладони – слёзы, исторгнутые из самой далёкой глубины его измученной души. В этот момент прекрасный Сах-Лума повернулся к нему с улыбкой, как человек, ожидающий более искреннего одобрения, чем подаренное безликой толпою, и, встретив этот счастливый, самодовольный, полувопросительный взгляд, он изо всех сил вымучил улыбку. Как раз тогда Зефораним метнул на него пламенный взгляд, исполненный удивления и сочувствия.

– Клянусь богами, твой иностранец рыдает! – сказал монарх полунасмешливо, а затем уже более вежливо добавил: – И это не первый раз, когда голос Сах-Лумы прорывает фонтан слёз!

Забастес тем временем наблюдал за всей сценой с выражением смешанного нетерпения, злобы и отвращения, которые ясно читались на его лице, и как только шум аплодисментов утих, он злобно стукнул палкой по полу и яростно закричал:

– Да защитят нас боги от нашествия дураков! Что значит весь этот надрывный рёв? Много раз уже, о чём свидетельствует мой усталый дух, слышал я пение Сах-Лумы, но никогда ещё не изрыгал он такого нудного, многословного, бессмысленного стихоплётства, как сегодня!

Взрыв смеха оборвал и заглушил его резкий голос – смеха, к которому самым сердечным образом присоединился и сам Сах-Лума. Он продолжал сидеть на своём кресле из слоновой кости и, лениво откинувшись на подушки, глядел на своего критика с терпеливым добродушием и весёлостью, пока королевское зычное «Ха-ха-ха!» отдавалось жемчужным перезвоном от потолка и стен огромной залы.

– Ах ты, несносный плут! – орал Зефораним. – Решил убить меня своими едкими шуточками? Что тебе не нравится? Выйди –

говори!

– Если бы мне позволили говорить свободно, ваше величество, я бы в первую очередь сказал, что поэма эта, столь высоко вами оцененная, абсолютно лишена здравого смысла. Это простой каприз воображения, а что такое воображение? Простое помрачение мозговых клеток – заболевание мозга, в котором мысли строятся на невозможности, на том, чего нет и никогда не будет. Его стихи несут в себе принудительную возвышенность, – тут Теос невольно вздрогнул, затем, собравшись, продолжил молчать, – которая неприятно режет слух. Например, какой смысл несёт в себе вот эта глупейшая из строк: «Торжественная песнь полуночной звезды»? Чушь! Ибо никто никогда не слышал пения звёзд! Или вот ещё одно пустое сравнение: «И ветры дикие рыдают от состраданья к миру». Но один куплет сильнее всего раздражает мои чувства:

«И солнце хваткою любовной
Срывает изумрудный пояс роз!»

Здесь его речь прервал очередной приступ кашля, и снова смех всей публики разнёсся вокруг весёлым эхом.

– Смейтесь, смейтесь! – сказал Забастес, успокаиваясь и глядя на толпу с решительной улыбкой. – Смейтесь, вы, бестолковые порождения глупости! И цепляйтесь, если вам нравится, за несуществующие мечты вашего Лауреата, который раздувает их в воздухе перед вами, как мальчишка – мыльные пузыри! Они пусты и мимолётны, горят лишь миг, а затем лопаются и испаряются; и внутри них сверкают краски – краски, которые кажутся бессмертными в своей прелести, но исчезают, как вздох, и никогда уже не возвратятся!

– Не правда! – вдруг перебил его Теос, сам не зная зачем, но чувствуя, что вполне готов встать на защиту Сах-Лумы: – Ибо краски бессмертны и пронизывают всю вселенную, будь они хоть в мыльном пузыре, хоть в радуге! Семь цветов спектра существуют, соразмеренно с семью музыкальными нотами, и многое из того, что мы называем искусством или поэзией, есть не что иное, как постоянное отражение этих вечно живущих оттенков и звуков. Может ли критик проникнуть в тайны природы глубже, чем поэт? Нет, ибо он разрушает творение везде, где только может, и отыскивает недостатки в её прекраснейших порождениях! Может ли Забастес вызвать наши слёзы и страсть? Может ли заставить сердце забиться счастливой дрожью или согреть нашу кровь теплом? Нет! Зато Сах-Лума способен своим искусством заставить нас видеть не только одну лилию,

но тысячи лилий, качающихся на ветру его фантазии; не один лишь – но тысячи миров, кружащих в небесах великолепных рифм, не одну радость, но тысячи радостей, дрожащих в песни его вдохновения. Сердце, человеческое сердце – вот единственное мерило гения поэта, и когда оно отзывается, кто станет отрицать его бессмертную славу!

Громкие аплодисменты последовали за этими словами, и король фамильярно хлопнул Теоса по плечу:

– Смело сказано, господин чужестранец! И у тебя тоже музыкальный голос! Кто знает, быть может, со временем и ты станешь поэтом! А ты, Забастес, убирайся отсюда! Все твои доводы ошибочны, как всегда! Ты и сам разочарованный писатель – вот откуда происходит твоя злоба!

Посрамлённый Забастес удалился, бубня что-то себе под нос, и Лауреат, чей мечтательный взгляд теперь остановился на Теосе, его самопровозглашённом защитнике, снова взял в руки арфу и собирался уже запеть ещё раз; когда вдруг раздался сильный шум, словно от бряцанья оружием, и начал постепенно настать гомон множества голосов и топот марширующих ног. Двери распахнулись, поспешно вбежал гонец и закричал:

– О великий король, да живёт имя твоё вечно! Хосрула схвачен!

Чёрные брови Зефоранима сошлись на переносице, и жёсткая линия рта обозначилась резче.

– Итак! Наконец-то ты научился быстро выговаривать новости! Приведите сюда арестанта, и мы сами освободим его от жёстких цепей… – и он многозначительно коснулся своего меча: – Дадим ему большую свободу, чем та, коей он пользовался на земле!

И тогда все взгляды устремились на вход в парадный зал. Группа вооружённых солдат окружила и подталкивала высокого, изможднного, безумного старика, чьи глаза горели огнём из глубин пещеристой тени его изогнутых бровей; человека, чей вид был настолько величественен, и к тому же столь ужасен, что невольный ропот смешанного восхищения и страха пробежал в толпе собравшихся. Это был Хосрула – пророк той веры, что должна была изменить мир, фанатичный последователь ещё неведомой человечеству религии, бесстрашный предсказатель краха Аль-Кириса и гибели его короля!

Теос с удивлением смотрел на его похоронные, чёрные одежды, висевшие на нём, как саван; на его длинную, нечёсаную бороду и седые волосы, ниспадавшие в беспорядке по плечам; на его таинственную фигуру, которая, несмотря на путы, держалась прямо и твёрдо, выражая бесстрашие и спокойное

достоинство. Было нечто сверхъестественно значительное и странным образом вдохновляющее в нём, нечто властное и дерзкое в прямом и пристальном взгляде, который он устремил на короля; и на миг воцарилась глубокая тишина – тишина, казалось, рождённая суеверным ужасом, вдохновлённым простым фактом его присутствия. Взгляд Зефоранима остановился на нём с холодным безразличием; он сидел очень прямо на своём троне, положив одну руку на меч, и не выказывал никаких признаков гнева по отношению к узнику, не считая того, что вены у него на лбу внезапно вздулись и распухли и украшения на широкой груди беспокойно вздрагивали вверх-вниз от участившегося дыхания.

– Мы приветствуем тебя, Хосрула! – проговорил он медленно и со зловещей улыбкой. – Львиная лапа наконец-то тебя накрыла! Слишком долго испытывал ты наше терпение, ты должен отречься от своих ересей или умереть! Что же теперь ты скажешь нам о роке, суде, тщетности славы? Будешь пророчествовать? Будешь нести веру? Будешь сбивать людей с толку? Будешь проклинать короля? Ты, безумный колдун! Дьявол и еретик! Что помешает мне прямо сейчас тебя убить? – И он наполовину вытащил свой грозный меч.

Хосрула встретил его угрожающий взгляд, даже не мигнув.

– Ничто не помешает тебе, Зефораним, – отвечал он, и голос его – глубокий, музыкальный и звонкий, поразил Теоса в самое сердце своим странным, предвещающим недоброе холодком. – Ничто, кроме твоего собственного презрения к трусости!

Рука монарха опустилась, румянцем вспыхнуло помрачневшее лицо. Внезапно повернувшись к вооружённой охране, он поднял руку властным жестом.

– Развязать его!

Верёвки и тяжёлые оковы упали, и очень скоро Хосрула уже обладал сравнительной свободой. Сначала он, казалось, не понял королевского благородства и не пытался пошевелиться; руки его были плотно сомкнуты, словно до сих пор в путах, и так, неподвижный и замерший, стоял он, когда Теос, глядя на него, начал гадать, состоял ли он поистине из плоти и крови, или, быть может, он был не более чем неким измождённым призраком, обретшим мистическую, искусственную форму иного мира, чтобы свидетельствовать о неведомом живым людям. Зефораним тем временем позвал виночерпия, прекрасного, как Ганимед, юношу, кто по знаку его величества подошёл к пророку и, налив вина из драгоценного кувшина в кубок из золота, предложил его ему с учтивой, приветственной улыбкой. Хосрула яростно вздрогнул, словно внезапно очнувшись ото сна, прикрыв рукою глаза, он

уставился на весёлого слугу, затем оттолкнул кубок прочь, дрожа от возмущения:

– Прочь! Прочь! Вы вынуждаете меня пить кровь? Кровь! Она окрашивает землю и небеса! Небеса бледнеют и дрожат, серебряные звёзды меркнут, и ветры пустыни рыдают по грядущему, ибо никогда уже не созреет виноград и не соберут урожай! Кровь, невинная кровь! Алые моря крови, в которых, как разбитый и потерянный корабль, город Аль-Кирис никогда не восстанет вновь!

Эти страстные слова произвели самое глубокое впечатление. Несколько дворян обменялись нерешительными взглядами, а женщины привставали со своих мест, глядя на короля, словно в молчаливой просьбе удалиться. Однако повелительный отрицательный жест Зефоранима обязал их остаться.

– Ты безумец, Хосрула! – сказал монарх спокойным, размеренным тоном. – И из уважения к твоему безумию, а также к возрасту, мы до сих пор медлили с правосудием. Тем не менее чрезмерная жалость у великих королей слишком часто вырождается в слабость, а этого мы в себе не потерпим, даже ради нескольких оставшихся несчастных лет твоей жизни. Ты превысил пределы нашего терпения и больше не будешь нарушать законов – ты опасен для нашего королевства, ты истинный предатель и должен немедленно умереть. Ты проклят…

– Поистине! – перебил его Хосрула с тенью печали в насмешливом тоне. – Я высказал истину в век лжи! А это наиболее достойное смерти дело!

Он замолчал и словно бы снова погрузился в себя; Зефораним нахмурился, но ничего не ответил. Теоса всё более увлекало происходящее, было нечто роковое и предвещавшее нависшее над ними зло во всём этом. Вдруг Сах-Лума поднял глаза, и лицо его просияло.

– Во имя священного Покрова, – весело обратился он к королю. – Ваше величество слишком серьёзно воспринимает этого почтенного джентльмена! Я узнаю в нём одного из представителей своего ремесла: поэта и трагика, пристрастного к мелодраматичным улыбкам. – И, повернувшись к Хосруле, он добавил: – Ты ведь поломаешь вместе со мною копья о песню, седая борода? Ты прокаркаешь о смерти, а я спою о любви, а король выскажет своё суждение о том, чья мелодия сильнее и милее ему!

Хосрула поднял голову и встретил полунасмешливый взгляд Лауреата с видом бесконечного сострадания и сожаления.

– Ты бедный, обманывающийся певец дней погибели! Увы тебе, что умрёшь ты так скоро и столь быстро будешь забыт!

Слава твоя никчёмна, как песчинка, сдуваемая порывом дыхания моря! Твоя гордость и триумф мимолётны, как утренний туман, исчезающий в лучах жаркого солнца! Тебе было отпущено великое вдохновение, а ты упустил его истинное значение и из всех золотых нитей поэзии, свободно отданных в твои руки, ты не соткал ни единой дорожки к Богу! Увы, Сах-Лума! Яркая душа, не ведающая своей судьбы! Ты будешь внезапно и жестоко убит – и твой убийца сидит здесь! – он ткнул пальцем в сторону короля.

– Клянусь всеми благодетелями Нагая, – рассмеялся Зефораним, – это самая великолепная глупость! Я, Зефораним, убийца моего друга и первого фаворита в королевстве? Старик, твоя фантазия безгранична, и она истощает моё терпение, хотя, сказать по правде, мне жаль, что разум твой разрушен: печально, что такому уважаемому и серьёзному старцу не достаёт ума. Да будь Аль-Кирис осаждён тысячами врагов и эти крепкие дворцовые стены повергнуты в пыль колесом войны, мы бы защищали Сах-Луму сами до последнего победного вздоха!

Сах-Лума улыбнулся и благодарно кивнул в ответ на столь душевное заверение в дружбе его суверена, но, тем не менее, лёгкая тень пролегла меж его прекрасных бровей. Он явно был неприятно поражён словами Хосрулы, и беспокойство отражалось на его лице, передаваясь каким-то электрическим импульсом и Теосу, чьё сердце тяжко забилось от чувства смутной тревоги.

«Кто такой этот Хосрула? – подумал он. – И как он смеет пророчить гибель обожаемому и восхитительному Сах-Луме?» – «Хряк!» – «Что это был за тихий, далёкий звук, будто от катившихся на полной скорости колёс?» – он прислушался, затем оглянулся на других людей, но никто из них, казалось, не услышал ничего необычного. Кроме того, все испуганные взгляды были устремлены на Хосрулу, чьё прежде вялое поведение внезапно переменилось, и кто теперь вскинул голову, простёр руки и дико глядел, словно сам оживший Террор.

– Победа! Победа! – вскричал он. – Не будет больше побед тебе, Зефораним! Конец твоим завоеваниям, и флаг твоей славы падёт с башен твоей мощной цитадели! Смерть уже стоит у тебя за спиной! Рёв разрушения – у всех дворцовых ворот! И враг, что пришёл к тебе незамеченным, есть враг, которого никто не сможет ни победить, ни подчинить! Приговор Аль-Кирису был вынесен – и кто помешает его исполнению?! Аль-Кирис великолепный падёт! Плачьте и рыдайте по нему!

Вдруг яростный, визгливый крик сорвался с губ пророка:

– Глядите! Глядите, как сияет хохлатая голова, как изгибается шея в драгоценностях, как мягкое тело извивается и гнётся – вот

откуда всё это! От этой проклятой змеи! Отравительницы мира! Лизии! Лизии! Порочной девы! Королевы-куртизанки!

Едва он это высказал, как король набросился на него в ярости, сдавил горло и неистово швырнул вниз со ступеней трона, поставив ногу на его простёртое тело. Затем, вытащив свой огромный меч, он воздел его над головой – и через миг Хосрула уже заплатил бы жизнью за свою наглость… как вдруг ужасающий раскат грома потряс дворец, и все лампы погасли! Воцарилась непроницаемая темнота – плотная, тяжёлая, удушающая темнота. Гром укатился вдаль вибрирующим эхом, и наступила краткая, давящая тишина. Затем крики и стоны перепуганных женщин прорезали глубокий мрак, страшные звуки эгоистичной борьбы запаниковавшей толпы, беспомощное, нервное, беспричинное рассеяние, которое производят человеческие существа, когда пытаются одновременно избежать неминуемой смертельной опасности. Теос попытался пробиться к Сах-Луме, и как раз в это время начал появляться странный, колеблющийся свет – танцующие на стенах огоньки, выхватывающие из мрака лица испуганной толпы и огромную фигуру Зефоранима с воздетым мечом. Вскоре каждый предмет вблизи и вдали стал отчётливо видимым, и тогда разнёсся чудовищный яростный вопль короля:

– Где Хосрула?! Идиоты! Трусы! Напугались летнего грома! Вы позволили этому проклятому еретику ускользнуть из ваших рук! Света! Принесите свет!

Его властный и возмущённый голос отчасти успокоил панику, несколько восстановив порядок; пихающиеся и толкающиеся у дверей остановились; вооружённые стражи в стыдливом молчании начали поиски сбежавшего; и несколько пажей ворвались внутрь с горящими факелами. Поражённый и растерявшийся Теос взирал на всё это со странным ощущением напряжённого спокойствия, сверкающий зал кружился перед его глазами картинкой из прошлого, и тогда точная уверенность явилась ему – уверенность в том, что он уже видел всю эту сцену прежде! Как раз в этот миг рука Сах-Лумы схватила его, и голос зашептал в ухо:

– Уйдём отсюда, друг! Больше здесь не будет ничего иного, кроме построения стражей и растерянности; король, как лев, не прекратит рычать, пока жажда его мести не будет утолена! Чума на этого проклятого пророка! Он оборвал мою музыку и расстроил все рифмы! В исчезновении Хосрулы больше всех виноват Зефораним, однако это привилегия монарха – сваливать собственные ошибки и глупости на чужие плечи подчинённых! Идём! Лизия нас ждёт и не простит нам неподчинения её приказу явиться, идём отсюда, пока ворота дворца открыты.

Лизия – «порочная дева, королева-куртизанка», как сказал Хосрула. Тем не менее её имя, словно серебряный рожок, заставляло сердце Теоса биться с неописуемой радостью и лихорадочным предвосхищением, так что он без промедлений согласился с Сах-Лумой. Рука об руку они – прославленный поэт и поэт позабытый – быстро прокладывали себе путь меж рядов дворян, офицеров, рабов и лакеев, которые все оживлённо обсуждали недавний испуг, побег пророка и яростный гнев короля; и, торопливо шагая вдоль широкого зала Двух Тысяч Колонн, они вместе вышли в ночь.

Глава 17. Любовь, которая убивает

Под безоблачным, усеянным звёздами небом, в волнах тёплого воздуха, пропитанном ароматами роз, они вновь ехали вместе по широким улицам Аль-Кириса, которые теперь уже почти совсем опустели, не считая редких запоздавших пешеходов, чьи размытые фигуры терялись в движении, подобно бледным мерцающим теням. Теос, мечтательно восхищаясь красотою города, так преобразившегося в свете луны, едва ли сознавал, что во всём этом было нечто необычное. Он действовал согласно сложившимся условиям и, по правде сказать, иначе он и не мог бы поступать, поскольку чувствовал, что судьбой его управляла некая непреодолимая невидимая сила, против которой любое сопротивление стало бы бесполезным.

Наконец они остановились. Перед ними возвышался высокий дом, украшенный остроконечными башенками; огромные ворота были распахнуты, и, медленно вышагивая из стороны в сторону, напротив входа ожидал высокий раб в белой тунике и тюрбане, кто, кивнув им в знак приветствия, затем пронзительно засвистел. На его призыв откликнулись двое слуг, которые проводили их во внутренний двор; там Сах-Лума потянул за руку своего спутника и провёл его по длинной аллее, затенённой густыми ветвями. Взорам их открылся великолепный тенистый сад, полностью накрытый стеклянным куполом, под которым росли вместе тысячи экзотических цветов и деревьев; ароматные магнолии и певчие птицы, искусно выполненные скамейки, бассейны с нимфами и статуями украшали этот невероятно роскошный двор.

Внезапно Теос в страхе отступил назад: огромная тигрица с горящими глазами выпрыгнула навстречу и подошла к нему с глухим злобным рыком. Тогда панель павильона справа сдвинулась с места и заскользила в сторону, и оттуда выступила фигура женщины, одетая в золотую мантию до самых пят. Теос глядел на сверкающее видение с удивлением. Это была Лизия! Лица её он пока видеть не мог, поскольку его скрывала тонкая белая вуаль, сквозь которую просвечивали яркие глаза, равно как и просторная золотая мантия скрывала её фигуру. Женщина и тигрица! Они странным образом были схожи, когда стояли рядом посреди зелёной листвы.

– Тише, дорогая Айзиф, тише! – произнесла женщина серьёзным, нежным голосом.

Сах-Лума склонил голову в полунадменном, полупочтительном приветствии.

Беспечным движением она откинула вуаль, и Теос посмотрел на неё со страстным восхищением и восторгом. Он словно видел перед собой прекрасную погибшую женщину, которую прежде любил и которая возродилась вновь во всей своей прелести. Но где же он видел её прежде? Она встретила его взгляд с томным безразличием и полупрезрительной улыбкой. Теос ощутил болезненный укол. Душа его восстала против циничного высокомерия женщины, которую он полюбил со всей страстью, что, казалось, дремала внутри него веками, а в тот момент внезапно возродилась вновь!

– Идёмте со мной, дорогие гости! – пригласила она Сах-Луму и Теоса.

Они вошли во дворец, долго петляли по широким колоннадам и роскошно оформленным залам, внутри которых встречались самые невероятные предметы ужасного культа Нагая, затем гости спустились по лестнице внутрь сверкающего зала, каменная аметистовая дверь бесшумно закрылась за их спинами, и вот Лизия уже стояла в парадной обеденной зале окружении своих гостей, которые обступили её с нетерпеливыми приветствиями и неприкрытой лестью. Она легко отвечала им, двигаясь, словно королева в толпе придворных, красный и зелёный цвета играли вокруг искрами живого огня, её тёмная голова, увенчанная драгоценными змеями, гордо возвышалась над золотой мантией, и глаза сверкали ледяным блеском насмешки. И тогда Теос заметил, что на одном конце банкетного стола находился постамент, богато украшенный малиновым шёлком, и на нём стоял трон, состоявший целиком из чёрного стекла. Его покрывали подушки из чёрного бархата, а над ним раскинулась арка из слоновой кости, на которой блестела змея с изумрудными глазами.

Теос не замечал течения времени – в такой пафосной и весёлой обстановке часы пролетали незаметно. Взрывы смеха громко отдавались от сводов, все возможные темы для разговоров уже были перебраны – законы, правительство, последние научные открытия, военная мощь короля; однако весёлая беседа постоянно вращалась вокруг неверия, атеизма и республиканства, распространённого среди населения Аль-Кириса, и возвращалась к обсуждению того влияния, которое оказывали проповеди пророка Хосрулы на умы низших классов. События последней поимки пророка и его недавний побег из дворца уже были прекрасно известны всем присутствовавшим, хоть и произошли они совсем недавно. С течением времени вино за столом лилось всё щедрее, так что собравшиеся гости начинали вести себя всё более и более развязно. Эти молодые люди были распущены,

однако не грубы; смелы, но не вульгарны, они получали удовольствие в том изящном стиле, что бесконечно более опасен своим влиянием на разум, чем простое веселье и грубые шутки необразованных плебеев. Они развлекались с эгоистичным животным наслаждением и вседозволенностью. Очень странно, но идея о том Боге – том всеми отвергнутом и позабытом Творце, смутно явилась Теосу в тот момент, когда он рассматривал лица собравшихся и видел на них чётко написанный эгоизм, в особенности же, на лице Сах-Лумы. Теос вдруг обрёл ясную уверенность в собственном бессмертии, ощутив себя при этом в окружении этих закоренелых атеистов единственным настоящим и положительно живым существом в компании смутных призраков. Тем не менее он сидел молча, изредка поглядывая на Сах-Луму, кого уже начинала одолевать сила выпитого вина и кто уже переместился к постаменту у ног Лизии, как раз рядом с тигрицей, лежавшей спокойно и неподвижно. Всеобщий разговор становился всё громче, а смех всё более бурным, когда один голос невнятно прозвучал из толпы:

– Спросите Лизию! Она знает о короле больше, нежели в том сознаётся!

Его слова были высказаны негромко, однако и этого хватило, чтобы все гости замолкли и стали прислушиваться. Тревожные взгляды замелькали за столом, и мёртвая тишина придавила собравшихся удушливой пеленой. Говоривший молодой человек, которого звали Нир-Джалис, удивился внезапной тишине и, лениво оглядев стол с мягких бархатных подушек, на которых возлежал, улыбнулся и спросил:

– Что за компания молчунов? Вы разве не расслышали? Я сказал, спросите Лизию! Спросите, отчего Зефораним тайком пробирается в Священный Храм по ночам, словно таящийся презренный раб, а не король. И я ручаюсь, что не поэзия побуждает его бродить по подземельям здешнего могильника в одиночку и с такой скрытностью! Лизия знает больше, чем желает в том признаться нам!

Настала новая глубокая, будто смертельная тишина, и затем серебристый голосок Лизии нарушил молчание ясным чётким звучанием:

– Друг Нир-Джалис! Мне думается, ты стал слишком мудр для этого мира! Поэтому мне горько, что тебе не суждено увидеть завершение нашего праздника! Оставь же нас сию минуту! Я легко прощу твоё отсутствие, коль скоро *настал твой час*!

И, взяв со столика рядом с собой стеклянный кубок в форме лилии на золотой ножке, она протянула его Нир-Джалису. Дико вскочив со своего дивана, он смотрел на неё, словно не веря

своим ушам, сильная дрожь сотрясала его до самых ног, руки сами собой конвульсивно сжимались, и тогда очень медленно он выпрямился.

– Лизия, прости меня! Ради нашей прошлой любви, Лизия, сжалься!

При этих словах Сах-Лума также подскочил, сжимая в руке кинжал, лицо его вспыхнуло гневом.

– Чёрт возьми, – вскричал он, – о чём говорит этот парень! Прошлая любовь? Ты, грязный хвастун! Как смеешь ты говорить о любви со Священной Жрицей?

Нир-Джалис не обратил на него никакого внимания. Глаза его глядели на Лизию, словно глаза затравленного животного, напрасно искавшего милосердия у своего убийцы.

– Во имя данного тобою обета, Нир-Джалис, – медленно проговорила жрица, – и во имя твоей клятвы, данной пред ликом Священного Глаза Рафона, – тут она коснулась страшного камня на своей груди в форме глаза, – я дарю тебе эту чашу забвения – серебряный нектар успокоения! Усни и больше не просыпайся! Выпей и умри! Твоё служение окончено! Прощай!

Он механически взял кубок в руки, оглядываясь по сторонам, всматриваясь с надеждой в лица молча внимавших гостей, словно в слабой попытке снискать чьё-либо сострадание здесь, и всё ещё надеясь на спасение. Но ни единого сострадательного взгляда не получил он в ответ, кроме взгляда Теоса, кто, исполнившись удивления и ужаса, уже готов был разразиться возмущением и упрёками, не одари его Сах-Лума предупреждающим взглядом, сообщавшем о том, что любое вмешательство с его стороны лишь ухудшило бы положение. Поэтому помимо своей воли и только ради Сах-Лумы Теос молчал, зачарованно глядя на Нир-Джалиса.

Тот поднёс кубок к губам, и тогда его яростный взгляд пал на Сах-Луму:

– Я пью это за тебя, Лауреат! – хрипло произнёс он. – Пой же теперь так сладостно, как только можешь, ибо вскоре и ты тоже отведаешь этого напитка!

И без дальнейших колебаний он выпил всё содержимое единым глотком. Едва он это сделал, как с диким криком повалился на пол, руки его заскребли в предсмертной агонии, лицо исказилось, однако желанный конец ещё не настал. Он вдруг вскочил на ноги, разорвал свой украшенный драгоценностями жилет и с трудом прижал руки к сердцу. Вены его вздулись и посинели. Он подошёл к Теосу и тяжко опустился перед ним на колени:

– Убей меня! Сжалься!

Теос в ужасе смотрел на мучения несчастного, ибо он уже

видел этого самого Нир-Джалиса умиравшим столь же жестоким образом прежде! Переполняемый невыразимым отвращением и страхом, он выхватил свой кинжал, наконец, желая прекратить страдания этого человека.

– Обезоружить его! – прозвучал приказ, и с молниеносной быстротой, верный своей хозяйке Газра молча подскочил к нему, вырвал из рук стальной нож и связал руки шарфом.

– Молчи! – прошептал кто-то ему в ухо. – Если тебе дорога твоя жизнь и жизнь Сах-Лумы, молчи!

– Успокойся, добрый Теос! – промолвила нежно Лизия. – Остерегайся поднимать оружие на защиту недостойных, лучше оставь своё мужество для тех, кто сможет оценить твои достоинства!

Она легко взмахнула рукой, отдавая команду Газре, который тут же подошёл к трупу Нир-Джалиса, стащил с него все драгоценности, затем вдвоём со вторым, столь же мускулистым рабом, как и он сам, они подняли тело с пола и унесли. Лизия поглядела на Сах-Луму и Теоса и тронула маленький колокольчик. От его чудесного звона мраморный пол раздвинулся, и банкетный стол со всеми дорогими фруктами и цветами с лёгкостью исчез под землёй! Затем пол снова закрылся, и теперь широкое круглое помещение зала было свободно от помех, и компания весельчаков стала лениво подниматься с подушек для танцев.

Неясное ощущение посетило тогда разум Теоса, а именно, что все чувства Сах-Лумы к Лизии были ясным отражением его собственных первоначальных страстных порывов, но теперь он более не держал злости на своего прославленного соперника, равно как и не питал ревности в любви. «Лучше любовь, которая убивает, чем не любить совсем!» – думал он. И тогда он отдался в добровольную власть собственных страстей, решив наслаждаться сегодняшним днем, несмотря на то, что могло ему принести с собой будущее.

В продолжение того вечера гостей развлекали невероятно искусные танцовщицы, вино продолжало литься рекой, так что Сах-Лума окончательно напился и уснул прямо у подножия трона жрицы. Тогда Лизия незаметно поманила к себе Теоса и попыталась соблазнить его, обещая сладострастные объятия и неземные блаженства, назвав, однако, одно страшное условие, поразившее его до самой глубины души:

– Убей Сах-Луму! – прошипела Лизия Теосу, словно змея. – Убей, я и сама предложила бы ему серебряный нектар, но тогда весь город восстал бы против меня из-за его смерти, ведь он всеобщий любимчик, поэтому он не должен погибнуть так.

Однако Теос в ужасе отшатнулся от неё, глядя на своего несчастного беспомощного друга, распростёртого у трона своей обожаемой Лизии, и твёрдо отвечал коварной соблазнительнице:

– Нет, я скорее отдал бы свою жизнь за него! И я буду молить Высшего Бога о том, чтобы Он помог ему освободиться от тебя навеки!

После своей провалившейся попытки Лизия незаметно покинула банкет, одарив Теоса ненавидящим взглядом, и тогда Теос осознал, что настало самое удачное время для побега из этого кошмарного места, и бросился тормошить друга.

– Поднимайся, Сах-Лума! Скорее, уйдём из этого ужасного места, – расталкивал он его.

Сах-Лума был совершенно пьян и требовал ещё вина и веселья, однако Теосу удалось наконец увести его через боковой проход, который вёл прочь из банкетного зала, в прохладный, влажный сад, где, ощутив некое облегчение от освежающего дыхания ночи, Сах-Лума выпрямился и спросил с удивлением:

– Куда ты меня тащишь?

– Подальше от опасности и смерти! – решительно отвечал Теос.

И он ускорил шаг, таща за собою друга по широкой дорожке, которая, как казалось, вела их прямо вперёд, но на самом деле петляла и извивалась между хитросплетёнными углами и поворотами. Неожиданно через арку переплетённых ветвей магнолии Теос уловил блеск подсвеченного бассейна с мраморной нимфой в центре, которую он уже видел в первый раз, когда они только пришли. И он нетерпеливо рванулся вперёд, зная, что теперь они уже были недалеко от входных ворот. Неожиданно фигура мужчины в полном вооружении показалась впереди и затем стремительно исчезла, однако не раньше, чем Теос успел узнать в нём жесткие и строгие черты самого короля.

– Сах-Лума, – прошептал он, – ты не заметил короля?

– Короля? Не может быть!

Теос молча указал в тенистый кустарник, и Сах-Лума оправился и с интересом и страхом уставился в указанном направлении.

– Король? – бормотал он. – В таком случае Хосрула был прав! Впрочем, нет, друг мой! Ты ошибся! Иди скорее домой, а я тебя догоню!

И, прежде чем Теос успел сказать хоть слово, он исчез среди густой листвы вслед за только что показавшимся королём.

– Сах-Лума! – в страхе позвал его Теос. – Вернись!

Но лишь тишина и шелест листвы были ему ответом и, так и не дождавшись друга, он направился к выходу один. Однако

вскоре он понял, что заблудился, и увидел железные ворота, распахнутые перед ним. За ними оказались ступени, которые вели вниз, в некое пустынное убежище, тёмное в эту беззвёздную ночь. С сомнением глядя на сумрачный склеп, ему показалось, что слабое голубое пламя заколыхалось впереди и в порыве внезапного интереса он начал спускаться вниз.

Пройдя сотню ступеней в полнейшем мраке, он вытянул руки и коснулся чего-то острого и ледяного. Содрогнувшись, он вновь заметил свет, который позволил ему осмотреться и осознать весь ужас своего положения: он был в огромном могильнике! В холодном мраке Теоса окружали сотни скелетов выбеленной кости, блестевших влагой, как жемчуг. Плечом к плечу стояли они плотными рядами, занимая каждый угол подземелья. Тысячи пустых глазниц, казалось, устремили свои взгляды на него в слепом удивлении; тысячи насмешливых улыбок горели на их черепах, так что ему казалось, будто он даже слышал их смех, отдававшийся эхом от сводов. Эти образы обступили его со всех сторон, тьма объяла, и он уже начал было падать в обморок от ужаса, когда вдруг сильная рука схватила его за плечо и крепко удержала на ногах.

– Сын мой! – промолвил серьёзный мелодичный голос. – Что ты здесь делаешь? Ты приговорён? Или ты бежишь от смерти?

С трудом сбросив оцепенение, Теос различил в свете яркой лампы, что теперь слепила его глаза, тёмные очертания высокого, одетого в чёрное старика, чей строгий и величавый вид сначала напомнил ему Хосрулу, но лицо стоявшего перед ним выражало такое спокойствие и бесстрастие, что делало его похожим на оживший труп.

– Бежать от смерти? – пробормотал Теос, дико оглядываясь на окружавших его повсюду скелетов. – Старик, ты тоже грезишь о несбыточном? Бежать от смерти невозможно! Она ждёт каждого из нас!

– Успокойся! Не богохульствуй, сын мой! – мягко проговорил старик. – Идём, я выведу тебя отсюда! Это место известно как подземная дорога смерти, оно сообщается с внутренним двором Священного Храма; если ты немедленно не спрячешься от Лизии, то тебя вскоре схватят её слуги и убьют. Идём, я покажу тебе тайный лабиринт, который выведет тебя к набережной реки.

Внезапно старик насторожился:

– Тише! Молчи! Скорее за мной и не шуми, тут рядом есть укрытие, где они нас не заметят.

Он схватил Теоса за руку и потащил в какую-то огромную каменную дыру, очень холодную и тёмную. Здесь они молча ждали. Вскоре послышался отдалённый топот ног, и появилось

мелькание факелов, затем показались полуголые стражники, которые тащили с собой двоих измученных пленников в изодранных одеждах – мужчину и женщину. Их тела кровоточили от многочисленных ран, они едва шли от усталости и изможденья. Остановившись посреди огромного зала со скелетами, они осветили ранее незамеченную Теосом стальную дверь в полу, накрепко запертую. Стражники отворили её с оглушительным лязгом, и тогда страшные крики ужаса сорвались с губ двоих пленников, взывая о пощаде.

Очевидно, пленники были влюблёнными, поскольку при виде ямы мужчина начал умолять спасти женщину, а женщина – мужчину, но в итоге оба они умерли в объятиях друг друга от ран и нервного перевозбуждения, так и не дождавшись своей участи.

– Печальное недоразумение! – прокомментировал этот факт один из стражников.

– Лизия будет недовольна!

Ещё посоветовавшись, как умерить будущий гнев своей хозяйки, стражники безжалостно побросали трупы за открытый прежде люк, при этом внизу послышалось какое-то движение, словно огромный зверь задвигался внутри, затем они заперли люк и ушли.

– О Боже! Возможно ли это! – обезумев от ужаса, закричал тогда Теос. – И это Аль-Кирис великолепный?! Неужели во всём городе некому остановить эти страшные злодеяния? Где же справедливость!

– Некому! – отвечал старик. – Я, человек по имени Зуриел, Хранитель Тайны, потому что известен своей неуёмной тягой к познанию вещей таинственных и неисследованных, знаю, что нет справедливости в этом городе! Всё здесь в руках Лизии, и весь город боится её, ибо религия в сегодняшнем Аль-Кирисе – это пустая насмешка над Богом! И поэтому вскоре всех нас ждёт катастрофа и тотальное разрушение!

Позже Хранитель привел его в низкий, светлый коридор, и здесь, подойдя ближе к своему проводнику, Теос увидел нечто любопытное у него на шее, что блестело в лучах света. Резко остановившись, Теос вспомнил этот символ – это был Крест! И тогда он пал на колени перед стариком и воскликнул:

– Мой спаситель! Ты служишь единственной истине! Благослови меня, отче!

– Да благословит тебя Бог! Ты просишь благословения религии, которая была предсказана, но не явится человечеству ещё на протяжении пяти тысяч лет!

Глава 18. Кровавая река

При этих неожиданных словах Теос вскочил на ноги, и смертная тьма, казалось, сомкнулась над ним; буря беспорядочных воспоминаний вскружила ему голову подобно морскому урагану. Престарелый, мрачного вида Зуриел стоял неподвижно, глядя на него с сожалением.

– Пять тысяч лет! – хрипло выдавил Теос. – Не будет явлена ещё пять тысяч лет?!

– Увы, сын мой! Ты не в себе! – с состраданием в голосе промолвил старик. – Ты, конечно, не мог бы узнать этого серебряного символа, поскольку это есть не что иное, как Талисман[8] или символ мистической братии Аль-Кириса, который не имеет смысла ни для кого, кроме избранных. Он был введён примерно двадцать лет назад вдохновенным наставником нашего ордена, Хосрулой, и его верные последователи продолжают носить его в качестве вечного напоминания о великом пророке.

Теос слушал, и тяжёлая апатия овладела им, его недавнее воодушевление умерло в волнах горького разочарования.

– А пророчество? – спросил он. – В чём его смысл и для кого оно?

– Поистине, это удивительно! Хосрула говорил, что слышал ангелов в небесах и его слух уловил эхо их отдалённых речей. Таким образом он точно предсказал спасение человеческого рода и напророчил, что через пять тысяч лет истинный Бог сам снизойдёт с небес, движимый милосердием и любовью, вочеловечится и научит людей праведной жизни. В последствие он будет поруган и распят на кресте, а затем воскреснет.

Он вздохнул и продолжил неспешное восхождение по коридору вверх; Теос следовал за ним как во сне и думал о том, что же всё это могло значить.

– А что касается этого прекрасного города Аль-Кириса, он очень древний? – спросил Теос.

– Исторические свидетельства о нём уходят в древность на двенадцать тысяч лет, – отвечал Зуриел, – но нынче считают время от даты Обожествления Нагая или Змея, и по этому счёту сейчас идёт 989 год так называемой эры Благодати и Познания, а скорее – бесчестия и греха! Ибо не было ещё на земле религии более мерзкой, чем наша! – Тут он повернулся к Теосу: – Ты ведь сейчас направишься прямиком во дворец Сах-Лумы?

Тот кивнул.

– Вы с ним настоящие друзья, или ты просто льстишь его больному самолюбию?

– Друзья! Я бы отдал жизнь за него!

– О, неужели? В таком случае, убеди его поворотить от зла к добру! Проси его сегодня держаться подальше от Храма и остерегаться короля! Предупреди, что его жизнь в опасности!

И с этими словами он остановился и затушил свою лампу. В ней уже не было нужды, поскольку большой серый просвет показался в широком проёме стены, высветив несколько грубых, сломанных ступеней, что выводили наверх, и, указав туда, он распрощался с поражённым Теосом.

– Ты легко найдёшь его дворец! – сказал старик. – Береги себя и своего друга от надвигающейся катастрофы. И если тебе ещё не хочется умирать, то беги из этого города сегодня же до заката. Утешайся молитвой о своём спасении! Мир тебе!

Через несколько минут Теос оказался на широкой мраморной набережной, недалеко от того места, где впервые увидел прекрасную Верховную Жрицу. Погрузившись в размышления, он шагал вдоль берега, когда вдруг заметил группу людей, собравшуюся впереди: мужчины, женщины и дети, которые тревожно толпились у самого края парапета, глядя с волнением на воду внизу. Теос быстро приблизился к ним и, поглядев туда же, невольно вскрикнул от ужаса: река была красная, как кровь. В свете медленно восходившего солнца воды внизу сияли тёмно-алым оттенком, более ярким, чем рубин.

По мере того как небо постепенно светлело до бледного, прозрачного голубого, цвет реки становился всё более выраженным и наконец группа собравшихся, словно поддавшись неудержимой панике, разбежалась в разные стороны с громкими криками отчаяния.

Теос остался стоять один, положив руки на скульптурный парапет и глядя вниз, в эти алые воды, пока их странный оттенок совсем не затуманил его зрение. И тогда слова пророка Хосрулы, сказанные в присутствии короля, явились ему на память с новым пугающим значением: «Кровь! Кровь! Алое море, в котором как разбитый и брошенный корабль, упокоится Аль-Кирис, чтобы никогда больше не возродиться!»

В этот момент ход его размышлений был прерван звуком резкого металлического голоса за спиной:

– Что за глупцы! – сказал голос, дрожа отчётливыми нотками презрения.

Повернувшись, Теос оказался лицом к лицу с говорившим: высоким человеком с бледным, чисто выбритым, интеллектуальным лицом, маленькими, острыми глазками и очень прямыми волосами; человек, каждая черта которого кричала о глубокой самоуверенности и равно глубоком

презрении ко мнению всех прочих людей, которые, вероятно, могли бы с ним не согласиться. Он серьёзно улыбнулся, Теос возвратил ему равно серьёзную улыбку, в то время как вновь пришедший, с повелительным взмахом руки продолжил:

– Вы, сер, очень молоды и, вероятно, вращаетесь в среде передовых студентов одного из наших величайших колледжей, поэтому особенный, но вместе с тем не вполне неестественный оттенок реки, заметный этим утром, несомненно, не является загадкой для вас?

Теос улыбнулся, торжественная манера собеседника изъясняться и его напыщенный вид насмешили его.

– Достопочтенный сер, вы переоцениваете мои скромные возможности! Я в Аль-Кирисе чужак, и мне ничего не известно о здешней образовательной системе, равно как и о действии внутреннего механизма нашей удивительной вселенной!

– Любопытно! – пробормотал учёный. – Но я не спрашиваю вас о сокровенном знании природы вещей, а лишь пытаюсь определить, подвержены ли вы, подобно тем глупым плебеям, влиянию всех этих бессмысленных предрассудков, касающихся изменения цвета воды в реке. Ибо цвет этот, хоть и кажущийся необычным, происходит от вполне естественных причин, что известно каждому школьнику и весьма легко объяснимо с помощью науки.

Теос замешкался, глаза его невольно обратились к алому потоку, который теперь, в лучах рассветного солнца, казался ещё более ярким и красным, словно настоящая человеческая кровь.

– Странные слова звучали в последнее время в Аль-Кирисе, – задумчиво промолвил Теос, – этот красный цвет может, как вы говорите, оказаться следствием и природных явлений, тем не менее не представляется ли вам такое совпадение исключительным феноменом, если даже не странным и почти фатальным предзнаменованием!

Его собеседник рассмеялся спокойным, беспечным смехом, выражавшим презрение.

– Феномен! Предзнаменование! Эти слова сегодня содержатся лишь в словаре необразованных масс; мы, учёные и люди высококультурные, давно отбросили их прочь, как бессмысленные и ненужные. Нет, молодой человек, цвет воды в этой реке, так похожий на человеческую кровь, не имеет ничего общего со знамениями и пророчествами о грядущем зле, явление это вызвано простым притоком какой-то инородной материи, вероятно, принесённой бурею со склонов далёких гор, из которых эта река проистекает. Какое-то внезапное смещение почвы, или вулканический выброс, или далёкое землетрясение… любое

из этих природных явлений могло стать причиной изменения цвета.

– «Могло стать»? Отчего же вы не говорите «должно стать»? – заметил Теос с иронией. – Раз уж наука вселяет в вас такую уверенность?

– Нет-нет, никто никогда, даже самые высокомудрые учёные, не могут сказать «должно стать»! Строго говоря, невозможно в нашем мире высказать ни единого совершенно неоспоримого заключения.

– Даже такое, как, например, дважды два четыре? – предположил с улыбкой Теос.

– Даже такое! – серьёзно заключил учёный.

Теос воззрился на него с удивлением: человек этот, должно быть, спятил, решил он.

– Признаюсь, вы меня сильно удивили, сер! Я спросил вас просто ради шутки. Взгляните, – он поднял с земли палочку и разделил на четыре части, – сосчитайте же сами: два и два! Сколько выходит палочек? Уверен, что не больше и не меньше, чем четыре?

– Кажется, что четыре! – примирительным тоном заметил человек. – Но я бы не стал за это ручаться! Равно как и ни за что иное, что видят мои глаза и подсказывают мне мои чувства.

– Бог мой, но минуту назад вы восхваляли превосходство разума и прогрессивную систему знаний, которую преподают в ваших колледжах, противопоставляя её сверхъестественным вещам и духовным истинам, имея целью выставить их несостоятельными!

И он с чувством зашвырнул палочки в мутный поток красной реки. Учёный покачал головой.

– Понимаете, теория может быть – одно, а вот частное мнение – другое! Научная теория, которую я исповедаю от лица нашего колледжа и всей учёной коллегии, – это моя профессия, ею я зарабатываю свой хлеб, содержу слуг и получаю от неё доход! За моё частное мнение мне никто не платит. Я обучаю учеников атеизму, ибо чувствую в них положительную страсть к нему. Что же касается моих личных взглядов, то они ничего не значат! У меня вообще нет строгих неоспоримых принципов, поскольку весь мир постоянно изменяется: горы становятся равнинами, равнины горами, суша превращается в океан, а океан может пересохнуть – и так вечно. В таком изменчивом мире как можно строго полагаться на какую-либо идею!

– Так итогом всей вашей учёности, сер, является уверенность в том, что ни в чём нельзя быть уверенным?

– Именно так! Вы думаете, что видите меня и что я

существую, но, в конце концов, всё это лишь субъективное восприятие! И я верю, что вскоре все мы придём к выводу, что и вовсе не существуем! Думаю, именно эта идея и станет истинным триумфом философии!

– Весьма печальным триумфом! – пробормотал Теос устало. – В таком случае, что же станется с такими благороднейшими чувствами и устремлениями человека, как любовь, надежда, благодарность, долг и амбиции?

– Они останутся в точности такими же, как были прежде, но только мы научимся воспринимать их только как средство создания впечатления, будто мы живём, впечатление, которое всегда будет приемлемым, хоть и иллюзорным!

– Едва ли столь спорные теории приведут нас к счастью! – пожал плечами Теос.

– Счастье! – с презрением улыбнулся учёный. – Пустое слово, рождённое умом полнейшего неуча! Глупцы, подобные известному Сах-Луме, выдумали его!

Теос вздрогнул от негодования и вспыхнул:

– Следите за своими словами, сер, Сах-Лума – мой друг!

Учёный отступил на шаг, подняв руки в примирительном жесте:

– О, я прошу прощения, добрый незнакомец! – пробормотал он. – И всё же некоторое извинение моим поспешным словам может дать то всеобщее презрение к поэтам и их ремеслу, что так широко распространилось нынче среди людей практических и обладающих высокими знаниями…

– Мне об этом известно! – быстро прервал его Теос. – Мне знакома так называемая «мудрость» современных людей, которая уходит корнями в узколобые предрассудки и приправлена ещё более сомнительной логикой, имеющая своей целью посмеяться над истинным величием того, кому Бог даровал вдохновение и талант, не требующие никакого предварительного обучения или чтения мудрёных книг.

– О, вы ещё молоды, сер! Вскоре вы перерастёте этот дурной фанатизм в отношении к искусству и убедитесь в том, что это напрасная трата времени! Тем не менее наша беседа оказалась гораздо более интересной, чем я мог предполагать, и я с нетерпением буду ждать нашей новой встречи. Если у вас возникнет желание поговорить ещё, спросите главного профессора Научного Позитивизма в любой день в Королевском колледже, и я немедленно вас приму! Моё имя Мира-Кабур! Профессор Мира-Кабур к вашим услугам!

И, положив руку на грудь, он торжественно поклонился.

– Профессор позитивизма, который никогда не бывает

позитивным! – заметил Теос с грустным вздохом.

– Ах, простите! Напротив, я всегда позитивен! Позитивен в непозитивности позитивизма!

И, высказав этот финальный парадокс, он ещё раз поклонился и ушёл. Теос проводил его печальным и презрительным взглядом. Самодовольный, образованный невежа Мира-Кабур не был редким исключением, несомненно, таких, как он, встречается немало. Подобные взгляды нынче пользуются широкой популярностью, и, хотя и в самом деле могло оказаться именно так, так считал Мира-Кабур, то есть чудо произошло по чисто естественным причинам, однако же это не даёт никакого удовлетворительного объяснения вопроса. Землетрясение или же сдвиги почвы, быть может, для кого-либо и станут достаточным аргументом, но пытливым ум пожелает узнать, где же случилось землетрясение, а также каким образом оно так повлияло на цвет речных вод, окружавших именно Аль-Кирис и именно сегодня. Логика Мира-Кабуры не дала ответов на эти вопросы, поэтому Теос остался после разговора с ним в ещё большем непонимании, и слова его нисколько не убедили и ничего не прояснили.

Глава 19. Разрушение обелиска

Вскоре Теос оказался у дворца Сах-Лумы – ворота были распахнуты настежь, и приятный смех и мягкое пение долетали изнутри. Прислушавшись к звукам, Теос успокоился: Сах-Лума очевидно был дома и невредим. Первым, кого встретил на ступенях дворца Теос, был критик Забастес.

– А, добрый Забастес! – весело вскричал он. – Где же твой хозяин? Он вернулся в целости?

– Не сомневайся в этом! – прокаркал критик. – Более того, он весьма обеспокоен внезапным исчезновением своей любимой девушки – рабыни Нифраты, которая внезапно исчезла сегодня, не оставив ему ни строчки. Ах, всё в этом мире кончается, даже хорошие женщины уходят…

И, забормотав таким образом, Забастес побрёл вперёд по коридору, а Теос тем временем скоро пересёк холл и оказался у двери святилища Лауреата, куда и проник, поначалу будучи незамеченным. Девушки собрались там и держали в руках цветы.

Беспечный вид Сах-Лумы только усилил беспокойство Теоса. Как раз в этот момент интересный персонаж вошёл в комнату: седоволосый негр-недоросток, который тащил переброшенный через спину огромный свёрток, состоявший из аккуратно скрученных кусков льна, один из которых он как раз вытащил и расстелил перед Сах-Лумой, а тот взамен протянул ему серебряную монету, одновременно бросив шутливым тоном:

– Есть ли какие новости сегодня, Зибия?

Зибия, спрятав монету в широкий кожаный кошель на поясе, на секунду задумался, а затем отвечал:

– По правде сказать, ваше сиятельство, ничего интересного, вот только много толков вызвала внезапная смерть молодого Нир-Джалиса, чьё тело обнаружили на берегу реки сегодня утром. А также, быть может, вашему сиятельству ещё не известно, что сегодня и сама река стала объектом пристального внимания, ибо цвет её вод переменился на кроваво-красный за ночь, и это событие вызвало великое волнение в народе! Говорят также о поимке пророка Хосрулы и об официальной программе праздника жертвоприношения, который будет иметь место сегодня вечером в Храме Нагая. Кроме того, объявлено, что масштабные бои диких зверей пройдут на Королевской арене сразу же после службы в Храме. Думаю, с таким списком развлечений сегодня никто не ляжет спать рано!

Пока он говорил, Сах-Лума развернул длинный льняной свёрток, который оказался весь исписан убористыми буквами

и оказался настоящей газетой.

Зибия низко поклонился и, пятясь задом, униженно удалился из залы.

– Не странно ли, что Нифрата покинула тебя вот так, Сах-Лума? – сказал Теос с ноткой беспокойства в голосе. – Быть может, она была несчастна и совсем отчаялась?

– Несчастна со мной? – вскричал в негодовании поэт. – Но я давал ей всё! Все блага и вся роскошь моего дворца были в её распоряжении!

– Но ты ведь не любил её! И мне известно теперь, к кому питаешь ты истинную страсть, однако ты скорее погибнешь дважды, чем признаешься в своей любви к этой предательнице Лизии!

– Предательнице! – неожиданно вскочил Сах-Лума, крепко схватив Теоса за горло. – Как смеешь ты ставить рядом эти два слова: «Лизия» и «предательница»? Глупец!

– Убей меня, друг мой! Избавь меня тем самым от тягостных воспоминаний о том, что вчера по просьбе Лизии я должен был убить тебя!

– Убить меня? – отступил Сах-Лума, и голос его сорвался.

Теос взял в руки газету и указал на статью о смерти несчастного Нир-Джалиса:

– Сах-Лума, тебе не стоит ждать милосердия и снисхождения от той женщины, что всегда была беспощадной. И Нир-Джалис – лишь один из многих, погибших таким образом! Друг мой, ты не можешь любить это чудовище!

– Но я люблю её со всей страстью, – промолвил Сах-Лума, – и моя жизнь больше не принадлежит мне! Уверен, ты просто перебрал вина и не расслышал её верно. Этот негодяй Нир-Джалис ведь заслужил свою участь, и Лизия тут ни в чём не виновата! Ты разве не слышал его обвинения в адрес короля?

– Слышал, но что с того? Не вижу ничего дурного в них.

– Ничего дурного! – вскричал Сах-Лума. – Ах, я и забыл, что ты чужестранец и ничего не знаешь о словах священного оракула, высказанных сотню лет назад: «Когда Верховная жрица станет любовницей Короля, падёт Аль-Кирис!» Эти слова в последствие и доныне произвели абсолютный запрет на любовную связь между жрицей и монархом, более того, он даже не может смотреть на её лицо, не считая общих служб. Но что же, друг мой, у меня ещё есть работа на сегодня! Идём со мною, и ты услышишь самую прекрасную легенду о любви, которую я готовил пока лишь для ушей Забастеса, однако я верю тебе и знаю, то ты не злостный плагиатор, который украл бы мою прекрасную «Нурельму»! – услышав это название Теос вздрогнул. Воспоминания закружили

его вновь! «Нурельма» – его собственная поэма! Поэма, которую он несомненно создал сам так давно в горах Дарьяльского ущелья.

Дыхание воздуха едва проникало сквозь широко распахнутые окна, и лишь нежный звук льющихся фонтанов во дворе нарушал тишину и жаркое спокойствие утра, да ещё случайный шелест перьев павлинов, когда те раскрывали веером свои хвосты на мраморной террасе снаружи.

Успокоенный таким окружением, Теос постепенно пришёл в себя после недавнего ужаса и негодования, однако он не мог так же скоро позабыть обо всём, как это сделал Сах-Лума. Вдруг дверь открылась, и с насмешливым выражением лица в комнату вошёл Забастес с листами папируса в руках.

– Всё готово, мой повелитель! – объявил он. – Белые листы чистого папируса уже лежат в ожидании твоей бессмысленной мазни. – И критик удобно устроился на стуле.

– Пиши! – посерьёзнев лицом, начал Сах-Лума. – Название моей поэмы будет «Нурельма, Древняя легенда о любви».

Теос вновь содрогнулся, услышав знакомые строки. По мере того как Сах-Лума всё ближе и ближе подходил к окончанию своей великолепной поэмы, глубокая тишина и спокойствие опускалось на них тяжким, почти давящим грузом. Хряк! Что это было? Через разгорячённый стоящий воздух долетел внезапный шум и злобный крики толпы, затем послышался торопливый цокот копыт множества лошадей и снова этот страшный, неудержимый рёв возмущения, извергаемый, как казалось, тысячью глоток. Все трое одновременно подскочили в едином инстинктивном порыве узнать, в чём дело, – Теос, Сах-Лума и Забастес поспешили на мраморную террасу. Теос, облокотившись на перила, мог видеть в отдалении огромную площадь, где гигантский белый гранитный обелиск занимал свою почётную позицию, и, внимательно вглядываясь туда, он увидел, что площадь заполонила огромная масса людей.

Возвышаясь над этим морем волнующихся голов, одна высокая, чётко видимая фигура предстала пред ликом обелиска. И когда Теос напряг зрение, чтобы лучше различить детали всей сцены, он вдруг увидел сверкающие доспехи вооружённых людей, стремительно и жестоко прорывавшихся в самый центр толпы. И тогда Сах-Лума схватил его за руку и воскликнул со смешанным выражением веселья и ярости:

– Идём, друг мой! Это королевские воины Его Величества тащат безумного Хосрулу, и на сей раз они точно с ним покончат! Идём, я бы не пропустил этого зрелища ни за что на свете!

И он прыжками бросился вниз, и Теос вслед за ним, когда им

в спину вдруг закричал Забастес:

– Сах-Лума! Ваше сиятельство! А как же поэма? Она ещё не закончена!

– Неважно! – обернулся поэт. – Она будет закончена позже!

И он поспешил вперёд; Теос едва поспевал за ним, думая про себя о новой загадке: ведь его поэма в прошлом была дописана до последней строчки, а Сах-Лума оставил её на потом?

Вскоре они уже протискивались сквозь толпу на площади, яростно пихая и толкая людей.

– Грядёт время, когда сильнейший, чем Зефораним, возьмёт узника и уведёт отсюда туда, куда я давно должен был уйти! Мир всем вам! Во имя Бога, о чьей истинности я свидетельствую, мир всем! – вещал пророк Хосрула.

Сах-Лума в этот момент пытался добраться до ближайшего фонтана, который украшал площадь с обелиском, и, легко вспрыгнув на его край, он встал прямо вытянулся во весь рост. Теос присоединился к нему.

– Видишь, – прошептал Сах-Лума другу, – этот старый глупец носит на груди символ своего Бога! А между тем, лишь месяц назад король выпустил указ, воспрещающий носить на себе знак этой недавно выдуманной религии, и повелел хватать всех, кто его ослушается и подвергать жестокой казни!

Теос содрогнулся, глаза его смутно различили издали крест на груди пророка. Тот же самый священный символ грядущего, который он видел у Хранителя Зуриела.

– Господь взывает ко всему Аль-Кирису! – вещал Хосрула. – Одумайтесь, о вы, жители города наслаждений, ибо все вы погрязли в сластолюбии и разврате! Вы стали пятном неверия на лике Божьего мира и позорите небеса! О люди, прислушайтесь к словам грядущего искупителя мира – Богочеловека и Спасителя!

– Грядущего? – внезапно вскричал Теос со своего возвышенного места. – Нет! Он уже приходил! Он умер за нас и воскрес вновь уже более восемнадцати столетий назад!

За этим последовала гнетущая тишина, даже воздух, казалось, не двигался. Огромная масса людей стремительно повернула свои глаза в сторону говорившего Теоса, а тот молчал: ему нечем было защититься от них, и сердце его отчаянно забилось от гордости и страха, страха – от своего уязвимого положения, и гордости – от того, что он отважился высказать то, что диктовала ему совесть. И эта гордость явилась для него самым необычайным откровением, ибо он неожиданно для самого себя засвидетельствовал перед людьми свою положительную веру в существование Спасителя, о котором говорил Хосрула.

– Кто ты, о незнакомец, посвящённый в тайны истинного

Бога? – с удивлением спросил его Хосрула.

Но тут в дело вмешался Сах-Лума, решив заступиться за своего друга и выручить его из глупого, как ему казалось, положения:

– Уважаемый, сер! – обратился он насмешливым тоном к пророку. – Мой друг подхватил инфекцию твоих фантастических речей и, подобно тебе, теперь не ведает, что говорит. Кроме того, он немного выпил вина, которое смешалось в его крови с жарким солнцем, и в таком настроении он, несомненно, решил пошутить над тобою.

Хосрула нахмурился и в ответ на эти насмешливые слова проговорил целую речь:

– Послушай же меня, Сах-Лума! Главный менестрель Аль-Кириса, который напрасно расточил драгоценные мгновения отпущенного тебе времени и бесценные дарования, ниспосланные тебе Богом! Ты приговорён к смерти – внезапной и жестокой смерти! Смерть придёт к тебе через предательские слова злой женщины, чья красота отнимает твои силы и омрачает твою славу, ибо ты погибнешь и будешь позабыт! Позабыт навеки, словно и не рождался! И ты, величайший поэт из когда-либо явившихся на землю, канешь в небытие, и имя Сах-Лумы ни о чём не скажет будущим поколениям! Смертельный яд сомнения, отрицание существования Бога, проклятая чернота неверия в вечную жизнь сгубили тебя! Да простит тебя Бог, поэт! Прощай же, падший ангел, сам себя лишивший царства!

Эффект сказанных слов оказался столь сильным, что на секунду поражённый и явно напуганный народ в ужасе отшатнулся от Сах-Лумы, глядя на него с удивлением, будто бы ожидая, что он немедленно падёт замертво наземь после торжественного приговора пророка.

– Но вот, дело идёт к завершению, нет больше времени для споров и слов! – провозгласил вдруг пророк и молча указал вперёд через площадь.

Толпа обернулась в указанном направлении и заметила приближавшуюся колесницу короля в сопровождении воинов, сверкавших натёртыми до блеска доспехами и оружием; она была запряжена шестёркой вороных коней, вся блестела драгоценностями и в самом центре её прямо возвышалась величественная фигура короля Зефоранима.

– Солдаты! Схватить предателя! Десять тысяч золотых за поимку Хосрулы! – громко объявил он.

– Падёт Аль-Кирис, и погибнет его король! – в исступлении возопил пророк. – «Когда Верховная жрица станет любовницей короля, падёт Аль-Кирис»!

И с этими последними словами он воздел руки к небесам, словно призывая их во свидетели, и, как подстреленная птица, тяжело повалился на спину замертво.

В толпе прокатился испуганный крик, король нетерпеливо подался вперёд в своей колеснице и спросил одного из ближайших солдат:

– Он действительно мёртв или притворяется?

– Ваше величество, он мёртв как камень! – был ответ.

Зефораним заколебался: жестокость и милосердие вступили в борьбу за власть над его сердцем, лицо нахмурилось, однако жестокость возобладала. Решительно выхватив свой меч, он склонился над поверженным пророком и одним стремительным ударом отсёк безжизненную уже главу пророка от тела и, воздев её вверх на конце меча, продемонстрировал толпе, которая испустила испуганный вздох. И с диким смехом он швырнул свой трофей на мостовую в лужу крови, при этом седые волосы испачкались в крови, и всё ещё распахнутые глаза устремили свой взор к небесам. Затем король, не вымолвив более ни слова, повернулся к своему кортежу, чтобы уехать прочь.

Как раз в этот миг солнце скрылось за тучей, и единственный луч прорезал воздух, осветив лишь величественные одежды монарха и обезглавленного Хосрулу, и одновременно ясно выхватил из тени очертания серебряного креста, что вспыхнул на груди кровоточившего трупа. Все глаза тогда невольно обратились к воспылавшему символу, который, казалось, разгорелся живым пламенем на лоне гибнувшей массы уже бесформенной плоти. Когда солнце вновь явилось во всём своём блеске, лихие скакуны Зефоранима уже мчали его галопом прочь.

Вся толпа людей теперь устремила взоры вслед колеснице, когда внезапно одна женщина издала громкий вопль и рванулась вперёд, указывая пальцем:

– Обелиск! Обелиск!

И тогда все обернулись к величественной колонне из белого гранита, что сверкала в лучах солнечного света, словно огромная жемчужина: она раскачивалась из стороны в сторону, будто неустойчивый корабль на волнах бушующего моря! От одного взгляда на это чудо вся толпа пришла в неистовство – началась страшная паника и толкотня; король, которого тоже обуял страх, яростно стегал коней, подгоняя их галоп и прорываясь через орущую, воющую толпу, в которой каждый теперь сражался за свою жизнь.

Один только Теос сохранял хладнокровное спокойствие; он схватил друга за руку и вместе они рванулись к ближайшей улице, что вела прочь с площади. Сах-Лума был бледен, но явно

не боялся, он молчал и послушно следовал за Теосом, перед которым толпа странным образом расступалась, как туман от ветра, так что невероятно быстро они успешно добрались до безопасного места.

Обелиск же тем временем сильно накренился, в его основании слышался какой-то треск и шум, будто некие демоны подгрызали его изнутри, затем он начал отчаянно проседать и с грохотом обрушился на мостовую площади! Грохот и треск от его падения разлетелись по всему городу, сотни людей оказались раненными и погребёнными под его обломками. Однако после великого падения камня наступила неожиданная тишина, необъяснимые подземные силы успокоились, и люди перестали давить друг друга, с ужасом глядя на обломки.

Глава 20. Золотая прядь

Избежав смерти, Теос решил немедленно увести друга в его дворец, где, по крайней мере, он будет в безопасности. На ступенях дворца молодой паж приветствовал Сах-Луму, встав на колени и протянув ему маленький свиток, перевязанный шёлковой лентой.

– Для его сиятельства Сах-Лумы, – сказал он. – Это недавно принёс некто в капюшоне, он был очень напуган и спешил, так что я не успел расспросить его, как он уже исчез.

Поэт взял свиток, едва взглянув на него, и направился прямиком в свои покои, Теос последовал за ним. Однако Сах-Лума ещё обернулся и спросил:

– Нифрата ещё не вернулась?

– Нет, мой господин. О ней нет никаких вестей…

Уже в своей студии поэт раскрыл свиток и вскрикнул, испугав Теоса.

– Плохие новости? – тут же подскочил он.

– Я и сам не знаю, – отвечал поэт, – но здесь прядь волос Нифраты!

Сердце Теоса исполнилось печали, а Сах-Лума медленно развернул свиток и начал читать убористые строчки:

«Величайшему и бессмертному поэту Аль-Кириса,

Не вини меня, о мой возлюбленный господин, в том, что я покидаю тебя вот так нежданно и навеки! Я дарую тебе свободу и благодарю за эту радость послужить Любви и принести себя в жертву на алтарь собственной страсти! Ибо ты знаешь, что я люблю тебя, о Сах-Лума! Итак, я ухожу одна, чтобы умереть за тебя, но знаю, что ты не будешь долго печалиться! Прощай же, любовь всей моей жизни!

Нифрата».

От этих строк глаза Теоса наполнились слезами, но Сах-Лума, дочитав, ответил на немой укор во взгляде друга:

– В чём же моя вина? Я дал ей всё! Кроме того, покинуть меня навеки, как она говорит, не в её власти, поскольку я буду требовать её назад при помощи Лизии и короля, а в моих просьбах я никогда не знавал отказа! С их помощью я очень скоро отыщу её.

– Как? Она могла уже покинуть город!

– Никто не покидает города без разрешения, – спокойно возразил Сах-Лума, – кроме того, ты не заметил черного диска

прошлой ночью во дворце Лизии? Жрецы Храма Нагая – величайшие учёные мира! Для них нет никаких чудес, они могут воссоздать при помощи своей науки, например, праздничные фейерверки, так сильно поражающие воображение народа; тот волшебный корабль на празднике прославления Верховной Жрицы – тоже их рук дело. Они прекрасно умеют разыгрывать спектакли! Например, при помощи фонографа они воспроизводят вещание оракула, что изрекает и повторяет свои приказы таинственным голосом. Что же касается того чёрного диска, то это специальный аппарат для сообщения на расстоянии, при помощи которого послания передаются по проводам мгновенно, посредством электричества. Лизия искусно использует его в своих целях.

Теос выслушал этот рассказ с удивлением и страхом, а затем спросил:

– Так Лизия может таким образом отыскать Нифрату где угодно?

– Конечно!

– Тогда мы должны спешить, ибо она говорит в своём письме о смерти!

– Друг мой, все женщины сентиментальны и говорят о смерти от любви! Нифрата не умрёт – нам совершенно не о чем беспокоиться!

И, успокоив свою совесть такими словами, Сах-Лума вышел на открытую террасу, наполненную ароматами цветов. Несколько минут он мечтательно созерцал роскошную листву деревьев и яркие бутоны, украшавшие пейзаж вокруг него.

– Значит, ты уверен, что Нифрата вернётся? – спросил Теос.

– Вернётся! Потому что во имя любви ко мне она сделает всё! – уверенно отвечал поэт.

– Во имя любви она может погибнуть! – возразил Теос.

– Нет, друг мой! Во имя любви она будет жить!

Как только он договорил, звук приближавшихся шагов нарушил тишину. Это была одна из молоденьких девушек – темноволосая красавица, которую Теос помнил ещё с первого своего появления во дворце, она тогда играла с ручной птицей.

– Приветствую тебя, Ирения! – весело воскликнул Сах-Лума. – Какие новости несёшь ты мне – дурные или добрые?

– Мой повелитель, жрец Внутреннего храма ожидает тебя. Он прибыл по поручению Высшей Властительницы.

Лицо Сах-Лумы вспыхнуло, и он явно разозлился. Потянув Теоса за руку, он возвратился обратно в комнату, где вытянулся во весь рост на подушках дивана.

– Присядь, друг мой! Раз уж нам предстоит выслушать этого

профессора лицемерия, то сделаем это с соответствующим презрением и беспечностью.

Затем он обратился уже к девушке:

– Передай, что я могу уделить ему лишь несколько минут.

Ирения смиренно удалилась, и в дверях появился паж, церемонно представив со всем почтением высокого персонажа, одетого в белое и до самых глаз завёрнутого в мантию из серебристой ткани, – таинственного, торжественного вида индивидуума, кто, остановившись на пороге, описал в воздухе круг небольшим жезлом, который принёс с собой, и сказал монотонным голосом:

– Именем вечного Солнца и бессчётных благодетелей Храма Нагая приветствую этот дом!

– Всем сердцем принимаю твоё благословение, – беспечно отвечал поэт.

Жрец сел в подвинутое для него пажем кресло; он казался странным образом бесстрастным и одновременно излучал интеллектуальную мощь. Черты его лица были красивыми, но вместе с тем и отталкивающими; тёмная борода придавала ему значимости, однако едва ли скрывала плоский подбородок и сжатый, жестокий рот; острые, хитрые глаза смотрели ясно; лоб был высок и свидетельствовал об уме, глубокие морщины перечёркивали его, казалось, от непрестанных размышлений и расчётов. Когда паж вышел, Сах-Лума начал разговор:

– Какое же неожиданное событие, благороднейший господин, стало причиной появления в моём доме самого Зела, верховного жреца жертвенного алтаря?

Жрец холодно улыбнулся.

– Порученное мне дело, главный Лауреат королевства, состоит в следующем: поскольку ты давно избегаешь общественной службы в Храме, то тем самым ты являешь людям, которые восхищаются твоим талантом, дурной пример для подражания и способствуешь их нежеланию также бывать в Храме, посему тебе велено нынче же ночью всенепременно явиться на запланированное жертвоприношение.

Сах-Лума закусил губу от злости.

– Несомненно, я буду на службе сегодня, – сказал он кратко. – И нет никакой надобности в столь жёстких приказах.

Спокойные слова жреца о грядущем жертвоприношении и его будничный тон возмутили Теоса до самой глубины души. И тогда он, не раздумывая над тем, кому и что он собирается сказать, осмелился возразить:

– Как можете вы творить такие жестокости в своём городе, убивая неповинных людей?

Его безрассудные слова поразили жреца, не привыкшего к возражениям, однако он спокойно объяснил, что в этом нет ничего необычного и жестокого – культ Нагая веками хранил традиции своих предков.

– Поистине, чужестранец, за столь смелые речи, будь ты нашим гражданином, тебя следовало бы подвергнуть жестокой казни, – отвечал он. – На алтаре Священного Храма погибают лучшие из лучших, ибо они были избраны самим богом. Умереть легко, гораздо труднее жить долгие годы, постепенно теряя свою красоту и силу, и здоровье, медленно наблюдая разрушение собственного тела, так что в чём-то культ Нагая даже милосерден к своим прекрасным жертвам.

После этого небольшого спора Зел с ироничным видом встал, поклонился и начал заворачивать свою мантию, готовясь уйти. Он медленно дошёл до двери и уже на пороге промолвил:

– Прощай, Сах-Лума!

И с этими словами бесшумно исчез, после чего поэт испустил вздох явного облегчения.

– Друг мой, не думал, что ты так безрассуден! – хлопнул Сах-Лума по плечу Теоса. – Благодари богов за то, что ты чужестранец и тебе многое прощается! Однако не вздумай повторять подобных замечаний в присутствии жрецов! Это опасно для твоей жизни!

После ухода Зела друзья вновь вышли в сад, где, улёгшись на высушенной от жары траве, Теос сквозь дрёму внимал мелодичному голосу Сах-Лумы, который дочитывал нараспев последние строки поэмы, записывая их на поясную табличку. Теос, конечно, знал их наизусть итак, но голос друга приятно ласкал его слух. Внезапно раздался отдалённый колокольный звон, Теос с тревогой вскочил на ноги, но поэт успокоил его:

– Это колокол Храма пробил закатное время.

– Уже закат! – поразился Теос.

Чувствуя горечь от собственного бессилия избавить друга от его судьбы, Теос молча последовал за Сах-Лумой мимо склонившихся кипарисовых ветвей и поросших мхом стволов деревьев, что стояли подобно насмешливым языческим идолам. Оказавшись на открытом пространстве, Теос воскликнул от восторга, воздев руку и указывая на удивительную картину открывшихся небес. Сцена пугающего великолепия предстала их взорам! Через весь горизонт, что искрился бледно-зелёным светом, как подмороженная вода, облако, чёрное, как самая тёмная полночь, тяжело и неподвижно зависло, приняв форму огромного листа с золотою каймою по краям.

И вся эта чёрная масса замерла совершенно неподвижно; казалось, будто её сбросили с небосвода, и она, упав, так

и осталась лежать. То и дело яркие вспышки молнии прорезали черноту её тела длинными стреловидными линиями оранжевого и серебряного цветов; в то же время чуть выше в небе ещё висело солнце, глядя сверху печальным алым пятном – шар тусклого огня, лишённый лучей.

Со всех сторон небо испещрили крапинки жемчужного цвета и неожиданные проблески словно бы горящего топаза; а ближе к земле расстилался тонкий голубоватый туман, прозрачная завеса, сквозь которую пейзаж обретал для зрителя странные оттенки и неземные цвета. Секунда – и тусклое солнце внезапно скрылось в нависшей тьме, оставив за собою лишь отсветы золотого и зелёного; нависшие пурпурные тени опускались с небес, затемняя их, как дым скрывает пламя; но огромная туча, пульсируя молниями, и не думала двигаться или менять форму, она зависла словно в ожидании торжественных похорон мира.

Очарованный странным видом небесного чуда, Теос в то же время смутно ощутил нереальность всего происходившего. Он, как уже бывало прежде, будто бы стоял перед необычайно эффектной картиной.

– Наконец-то буря! – сказал Сах-Лума с улыбкой на необычайно бледном лице в призрачном свете. – Она собиралась над нами весь день…

И с этими словами он вошёл в дом вместе с Теосом. В столовой они во второй раз поужинали по-королевски и после этого отправились в Храм Нагая пешком, ибо, как объяснил поэт, закон воспрещал пользоваться любыми транспортными средствами для этой цели. Даже сам король вынужден был смирять свою гордость и идти на службу пешком. Они как раз проходили мимо узкой, довольно тёмной улочки, зажатой с обеих сторон высокими изящными домами. Длинные мрачные тени собирались в этом самом месте, где на ограниченном пространстве тишина стала такой абсолютной, что можно было расслышать, как бьётся сердце. Вдруг желтовато-зелёный луч вспыхнул над мостовой, и верхний краешек луны осветил крыши домов, показавшись странным образом огромным и ярким. И тогда гулкий удар огромного колокола тяжело раздался в тишине, и Сах-Лума ускорил при этом свой шаг. Вскоре они добрались до конца улицы, где открылся обширный квадратный двор, со всех сторон обставленный огромными чёрными статуями, и, быстро миновав это пустынное место, они вышли к ослепительному свету – Храм Нагая во всём своём удивительном великолепии явился пред ними, демонстрируя искусную каменную резьбу на фасаде, похожую на тонкое кружево. От фундамента и до самой крыши Храм освещался

яркими огнями, ступени, ведущие вверх, украшали цветы, двери стояли распахнутыми, и громогласный гул торжественной музыки наполнял горячий воздух тревожным дрожанием.

Каким образом удалось им пробраться через плотную толпу людей, Теос впоследствии не мог бы объяснить, однако вскоре они уже стояли внутри, около колонны из белоснежного мрамора, которая возвышалась подобно пальме, и вершина её терялась под сводами высокого купола. Повсюду витали ароматы цветов, сверкали драгоценными камнями священные идолы, однако высшее великолепие всего окружения составляла внутренняя святыня, доныне сокрытая от глаз любопытствующих серебристой завесой. Под сводами храма разнеслось торжественное пение хора, воздавая славу Нагае.

Теос и Сах-Лума стояли в специальной ложе, отведённой для короля; вскоре явился и он сам, как всегда разряженный в пух и прах, и уселся в мягкое кресло прямо напротив серебряной завесы храма – священного Покрова, скрывавшего алтарь. Сах-Лума занял место справа от него, а Теос – за спиной. Теперь каждый дюйм храмового пространства был занят людьми, и Теос подумал, что здесь собралось, должно быть, около пяти тысяч человек. Стройный хор продолжал возносить хвалебные гимны Нагае, и все взоры устремились на серебристую завесу, которая медленно-медленно отодвинулась в сторону, и во всём своём блеске и красоте явилась взорам толпы прекрасная Верховная Жрица Лизия, распустившись, словно белая лилия. Она предстала вся в белом, руки её оплетали длинные браслеты в виде змей, и на груди её сверкал драгоценными камнями символ в форме глаза. Лизия продолжила торжественную службу, во время которой гимны и песнопения дополняли гулкие удары колокола, придавая всей церемонии ещё больше пышности и торжественности; яркие разряженные дети выходили с цветами на сцену и исполняли замысловатые танцы. Король и Сах-Лума сидели рядом очень спокойно, наблюдая службу, однако Теос отметил, как оба они буквально пожирали глазами фигуру Верховной Жрицы, так что на ум ему снова пришло пророчество Хосрулы о запретной связи между королём и Лизией, сулившей столько бед Аль-Кирису. Наконец Лизия воздела руки и трижды провозгласила чистым мелодичным голосом:

– Явись, о великий Нагая!

И тогда золотая решётка позади алтаря медленно опустилась и огромная змея, похожая на питона, около десяти футов в длину заскользила через открывшийся проход и медленно свилась в толстое кольцо, подняв голову прямо перед Лизией. Цвет её чешуи был кремово-белым, бесчисленные кольца и яркие

серебряные пятнышки также отмечали её кожу по всей длине. Женщину и змею окружила кольцом целая группа жрецов в белых одеждах, и они начали петь и поклоняться им. Сам король тогда пал ниц перед Лизией и целовал пыль у её ног, и Сах-Лума преклонил колени и улыбался насмешливо, изображая набожное поклонение; и тогда вся толпа также пала на колени и стала прославлять своё кошмарное божество!

Глаза Верховной Жрицы и Змеи встретились в пристальном долгом взгляде друг на друга, и тогда змея распахнула пасть, издав долгое шипение. Жрец Зел подошёл к ней и, разведя в стороны руки, воззвал:

– Приведите жертву!

Четыре жреца медленно ввели в храм маленькую худенькую фигурку, завёрнутую в белые одежды и украшенную лилиями. Её бледное, невинное лицо в обрамлении золотистых локонов воссияло ореолом перед ужаснувшимся Теосом. При взгляде на неё Сах-Лума мгновенно подскочил на месте и в волнении вскричал на весь храм:

– Нифрата! Нет, эта девушка моя! Клянусь, она не умрёт сегодня!

Наступила торжественная тишина. На лицах собравшихся был написан гнев и явное возмущение. Священная служба была прервана! Жрецы молча излучали негодование, а Лизия стояла неподвижно на месте, опустив взгляд, лишь губы её раздвинулись в ледяной улыбке.

– Спокойно, Сах-Лума! – громко проговорил король. – Как смеет твой болтливый язык прерывать ход священного ритуала? Если девушка оказалась здесь, значит, она вызвалась в добровольцы сама, и все твои жалобы и притязания не имеют смысла!

В ответ Сах-Лума бросился в ноги королю, умоляя сохранить жизнь его Нифрате. Его прекрасный голос, исполненный сострадания, выражал такое неудержимое отчаяние, что даже грубое сердце короля дрогнуло, и хмурое выражение лица рассеялось. Зефораним протянул было руку, желая как бы утешить своего друга, когда у них спиной хитрый жрец Зел, пошептавшись о чём-то с Лизией, выступил вперёд со следующими словами:

– Выслушай меня, о благородный король! Несправедливость не может совершиться в священном Храме Нагая, ибо девушки для жертвы всегда сами добровольно вызываются на эту роль! Так было и в этот раз с Нифратой! Но дабы рассеять все сомнения, давайте спросим её саму, пусть девушка ответит, чего она поистине желает больше всего на свете!

Тогда Сах-Лума обернулся к своей рабыне и нежным голосом начал просить прощения и увещевать её, склоняя к тому, чтобы она вернулась домой.

– Нифрата, это я, Сах-Лума! Тот, кого ты так любишь! – говорил он, попытавшись обнять её с нежностью.

Она смотрела на него, пока он говорил, со странным выражением смешанного недоверия и замешательства на лице. Затем вдруг с неожиданной силой она оттолкнула его руки и выпрямилась, громко ответив:

– Прочь! Ты не тот, кого я любила! Ты демон, который говорит красивые слова, чтобы искусить и погубить мою душу! Я предназначена в жертву Нагая, и я умру во имя любви!

Шёпот облегчения пробежал среди внимавшей толпы: жертва сама желала своей смерти! Жертвоприношение состоится! Теос с грустью подошёл к своему другу и стал утешать его горе, ибо Сах-Лума поистине сильно переживал предательство Нифраты. Верховная Жрица довольно улыбнулась, и церемония продолжилась.

Жрец Зел встал посередине алтаря с красивым острым ножом наготове. Нифрата смело ступила на первую ступень перед алтарём, затем решительно перемахнула вторую и третью и, обернувшись, промолвила напоследок:

– Во имя любви!

Внезапно с ужасающим грохотом раздался мощный громовой удар, за которым последовала ослепительная вспышка молнии, осветив разом весь храм через огромные окна. Толпа испуганно переглянулась при этом, король неловко переступил с ноги на ногу, нахмурившись; утреннего необъяснимого разрушения обелиска ещё никто не успел позабыть, поэтому в воздухе повисла всеобщая тревога. Но Лизия прекрасно сохранила самообладание и промолвила, глядя прямо на Нифрату:

– Боги теряют терпение! Вперёд, принцесса! Поспеши навстречу золотому трону Солнца, к нашему богу Нагая! Настал твой час!

И Нифрата рванулась вперёд неудержимым движением, прямо на жертвенный нож в руках жреца Зела! Теос в ужасе успел заметить лишь начало её стремительного движения, а затем всё вокруг потонуло в чёрном непроницаемом мраке.

Вспышка времени, неожиданная чернота, слишком быстрая, чтобы успеть даже вскрикнуть, и затем ужасающий рёв, словно от расщепления огромных камней и низвержения могучих гор – и мутные сумерки, которые мгновенно пожрали и рассеяли огненные порывы, вспыхнувшие одновременно со всех сторон! Живой огонь прорвался сразу двадцатью различными

источниками из-под мраморного пола, выпуская жадные языки пламени, которые мгновенно охватили всё вокруг сверкающими, танцующими вспышками, яростно бросившимися пожирать богатые украшения, драгоценности, идолов и саму серебряную завесу храма. Крики, паника, ужас, толчея мгновенно воцарились повсюду. Ближайшим безопасным местом для укрытия оказалась внутренняя часть храма Нагая, куда ещё не успел пробраться огонь. Король уже стоял там, подобно статуе, позади Лизии, на чьём замершем лице запечатлелся ужас. Теос отчаянно пытался найти путь к спасению, оглядываясь на большие храмовые окна, когда вдруг страстный крик Сах-Лумы привлёк его внимание. Поэт стоял на ступенях перед Лизией, мёртвая Нифрата лежала рядом с ним, но он не обращал никакого внимания на кровавую рану у той на груди. Он взывал только к Лизии:

– Бежим! Любовь моя, бежим со мною! Я спасу тебя!

От этих слов король яростно сорвался с места, подобно дикой пантере, и лицо его почернело от гнева и захлестнувшей ревности.

– Грязный предатель! – завопил он, схватив Сах-Луму и отшвырнув его в сторону, как тряпичную куклу. – Эта женщина моя! Моя!

При этом Лизия насмешливо рассмеялась, отчего Теоса изнутри обдало ледяным дыханием, ибо он вспомнил лицо несчастного Нир-Джалиса и его пророческие слова, обращённые к поэту.

В этот миг одна из боковых плит треснула, прорвавшись языками горячего пламени, и Лизия закричала от ужаса:

– Зефораним, спаси меня!

Но Сах-Лума отчаянно рванулся вперёд, встав между нею и королём, не намереваясь уступать свою любовь сопернику. И тогда Лизия закричала ещё раз:

– Зефораним! Спаси меня скорее! Убей Сах-Луму!

И тогда Зефораним мгновенно выхватил сверкающий кинжал и вонзил его в грудь поэта – Сах-Лума замертво пал на каменный пол, алая кровь окрасила черты его прекрасного лица. Теос в ужасе и отчаянии бросился на помощь к своему другу, не глядя более ни на короля, ни на Лизию, но было уже поздно! Сах-Лума погиб. Внезапный чудовищный крик Лизии заставил Теоса вновь обернуться, и глазам его предстало зрелище, от которого кровь застыла в жилах! Огромная змея востребовала своё: безжалостная охотница Лизия сама стала добычей! Змея одним стремительным броском обвилась вокруг тонкой талии той, кому привыкла безропотно подчиняться, и начинала всё плотнее и плотнее

сжимать кольца в удушающих объятиях. Зефораним отчаянно пытался высвободить возлюбленную, сражаясь с сильными мускулами змеиного тела, но всё напрасно! И в следующий миг высокий столб пламени сокрыл от Теоса всю эту ужасную сцену борьбы, взметнувшись под самый свод купола, и больше он ничего не мог разглядеть. Тогда, нечеловеческим усилием подняв на руки тело своего драгоценного друга, он начал прорываться к выходу.

На секунду Теос растерялся, оказавшись в кольце огня и беснующейся толпы, ослеплённый кошмаром происходившей катастрофы. Но вскоре он заметил небольшой арочный свод сбоку и ступени, уводившие куда-то вниз, прочь из этого ада. Теос вспомнил тогда слова старого Хранителя Зуриела о том, что тайная сеть туннелей сообщается с внутренним двором Храма. Во второй раз двигаясь по длинному каменному проходу, Теос не раз останавливался, чтобы перевести дух, а однажды оглянулся назад, но увидел там лишь отблески красного пламени – Храм теперь уже весь пылал, превратившись в горящую груду камней.

Выбравшись наконец наружу, он оказался в саду Храма, откуда на все четыре стороны света открывался широкий обзор, и тогда Теос к своему ужасу понял, что не один только храм Нагая, но и весь город Аль-Кирис уже пылал в огне! Дворцы, купола, башни и шпили подверглись алому разрушению – огонь, огонь повсюду! Ничего кроме огня! И только яростные порывы ветра доносили до него со стороны города чудовищные облака дыма. Он возвёл глаза к небесам, думая про себя о том, каким же чудом удалось ему выбраться из этого адского пекла? И если все эти люди, погибающие теперь в городе, были обречены, то почему же ему даровано было спасение?

– Сах-Лума, Сах-Лума, – прошептал он с горечью, – друг мой!

И, сложив ледяные руки друга у него на груди в форме креста, он с любовью поцеловал их и залился горькими слезами от печали по своей утрате.

– О великий Бог! – молился он. – Ты, которому всё возможно, просвети моё сердце! Я лишь пыль пред твоим величием! По своему бесконечному милосердию научи же меня тому, что я должен делать теперь!

И он в последний раз прижался губами к изящным рукам друга, нечаянно коснувшись таблички для письма, что так и осталась висеть на поясе поэта. Теос знал, что на ней были начертаны последние двадцать строчек стихов – окончание «Нурельмы», написанные в саду! Отчаяние заполнило душу Теоса до предела, и тогда силы начали оставлять его, разум поплыл… Внезапный серебристый звон колоколов раздался в его ушах,

а с ним прилетел и тоненький голосок, поющий: «Господи помилуй! Господи помилуй!» И тогда Теос повалился без чувств на твёрдую землю, издав глубокий, долгий вздох… А затем очнулся!

Глава 21. Рассвет

Он был на поле Ардаф. Только что забрезжил рассвет. Восток расширялся на горизонте, озаряясь тёплым золотым светом, и по всему небу протянулись голубые и серые полосы, словно обрывки погибших военных знамён. Над ним горела утренняя звезда, белая и блестящая, как серебряная лампа. А позади него – ясные, чёткие очертания знакомой фигуры светились розоватым блеском небес, руки её были сложены на груди, а нежные глаза, исполнены бесконечной нежности и сочувствия – Идрис стояла на коленях рядом с ним. Идрис – его ангел с короной из цветов на голове, кого он видел улетавшей прочь в вышину, как голубя во славе небесного креста!

Потрясённый произошедшей переменой, он лежал неподвижно, боясь шевельнуться или заговорить! Сознание его постепенно прояснялось, все неясности исчезали одна за другой из его разума, и вскоре торжественное спокойствие и тишина заполнили его душу. Он поверил в то, что пересёк границу смерти и вступил в Царство Небесное! Постепенно память стала возвращаться к нему, он осознал кто он и где он, хотя ещё не обрёл достаточной уверенности в происходящем: Теос Олвин, человек из девятнадцатого века от Рождества Христова, а не человек, живший за пять тысяч лет до этого события.

– Идрис!

– Любовь моя!

Он немного привстал и внимательнее присмотрелся к ней; она улыбнулась ему своей чудесной, задумчивой, умиротворённой улыбкой.

– Идрис, ангел мой, скажи мне, я видел сон?

– Не бойся ничего, любимый! Ты проспал всего одну ночь на поле Ардаф, в долине видений! Но вот прошла ночь, – и она указала на забрезживший на горизонте рассвет. – Вставай же навстречу новому дню!

Он вскочил, повинуясь её словам.

– Идрис, бессмертная Идрис! Я твой! Я знаю тебя, но – о боже! – кто же я? Пылинка твоего дыхания, полное ничтожество, сознающее только сейчас свою ничтожность! Идрис, ты не можешь любить меня! Я не достоин твоей любви! Пожалей меня, прости меня и благослови во имя Божие, но любить – у меня нет на это права!

– Мой Теос, все Небеса сейчас дивятся твоему добровольному смирению! Трон твой в Божественных сферах долго пустовал, а корона не была востребована! Ты тоже ангел, как и я! Но только

я свободна, а ты ещё связан земными узами Печальной Звезды! Но ты продолжишь свои поиски и познаешь Истину! Дух твой, озарённый благородным смирением и раскаянием, поднялся до новых высот, с которых ты теперь сможешь проникнуть в чудесные невидимые миры! Не говорила ли я тебе, что ты будешь учиться на ошибках прошлого? Понял ли ты значение своего видения об Аль-Кирисе? Ты видел прошлое воплощение славы поэта – ты и был Сах-Лумой! И все лавры его славы были твоими! И город Аль-Кирис Великолепный со всеми его богатствами обладал большим могуществом, чем любой из современных городов на Земле. Христос не являлся туда, но Бог говорил через своих пророков, таких как Хосрула. Он взывал к тебе, но ты его не слышал, будучи увлечённым вещами земными, но всемогущий Бог не допустил твоей бесплодной гибели! Хоть грешный город и погиб в пламени, и Сах-Лума вместе с ним, но дух его возродился в тебе, и ты продолжишь начатое им дело! Сегодня ты воссоздашь ту самую музыку поэзии, что так и не прозвучала в Аль-Кирисе в прошлом! Иди и пиши! Работай не ради денег, славы или почестей, а во имя Всевышнего Бога, который проявил к тебе такое великое милосердие, что показал через меня целый эпизод из твоей прошлой жизни! Это тебе урок – так используй его с честью! Трудись во имя нашей любви, и тогда в конце концов мы будем вместе. А пока я снова вынуждена оставить тебя одного, мой любимый!

– Идрис, но разве не можешь ты быть здесь, со мной? – протянул Теос руки в мольбе.

– И отказаться от моей Райской обители на Небе? Нет, Теос, этого я не сделаю даже ради тебя! Иди и твори! Неси людям истинную жемчужину поэзии, какая ещё не являлась среди смертных прежде! А я буду ждать тебя на Небесах!

Как раз в этот миг солнце царственно взошло на небеса, раздвинув красные и золотые завесы на востоке, и в этом свете фигура Идрис обрела розоватые очертания и стала прозрачнее, пока совсем не растаяла в воздухе. Теперь Теос знал, что чудеса случаются! И, более того, они нисколько не нарушают материальных законов природы, а свидетельствуют об их истинности и божественном происхождении.

Он остался один – один на поле Ардаф! Собравшись с мыслями, Теос успокоился и пришёл к твёрдому выводу: ему дарован второй шанс для того, чтобы искупить всю прошлую жизнь! Отныне он будет использовать свои дарования во благо, в помощь и утешение тех, кого он любит, а не ради собственного эгоизма!

– Моя Идрис! – прошептал он. – Тебе не придётся более

плакать на Небесах из-за меня! С помощью Божьей я верну своё растраченное небесное наследие!

При этих словах взгляд его упал на землю, покрытую белоснежными цветами. Он аккуратно сорвал один нежный белый ароматный цветок и приколол его к своей груди. Затем медленным, нетвёрдым шагом он добрёл до края поля Ардаф, отмеченного полуразрушенной колонной из красного гранита, о которой упоминал ему ещё Гелиобаз. Оттуда он направился к своему временному пристанищу у Эльзира, жившего неподалёку от руин Вавилона. Вскоре он увидел и самого Эльзира, который, кажется, собирал травы рядом со своей хижиной. При его приближении старик поднял глаза и улыбнулся в своей манере, решив, что гость только возвращается с утренней прогулки. Поздоровавшись, Теос вошёл в хижину, затем в свою крошечную комнатку, которая одновременно показалась ему такой знакомой и такой чужой! Подняв глаза на распятие на стене, от которого ещё вчера отвернулся с таким презрением и насмешкой, он теперь смотрел на него с невыразимым раскаянием и нежностью. Добрые, серьёзные, терпеливые глаза Спасителя встретили его удивлённый взгляд, и, поддавшись необъяснимому порыву, Теос пал на колени пред изображением Христа. И тогда душа его наконец успокоилась, окунувшись в неземное блаженство и мир. Здесь, с цветком поля Ардаф на груди, он пред лицом Бога решительно посвятил свою дальнейшую жизнь служению добру и в совершенном смирении отдался на волю Божью вовеки веков.

Часть 3. Поэт и ангел

Глава 22. Свежие лавры

Стоял хмурый мартовский вечер. Лондон поглотил меланхоличный туман, слишком плотный, чтобы его хоть ненадолго мог развеять даже внезапный порыв горького восточного ветра. Безостановочно моросил холодный дождь. Со стороны одного дома – старомодного, необычного здания, стоявшего в некотором отдалении от живописной части Кенсингтона, – с особенной силой долетали яростные пронзительные звуки, похожие на некое сумбурное кряхтение и подвывание. И если бы раздосадованный ветер смог прорваться сквозь стены и воплотиться в телесное существо, то он бы увидел, что источником этих полупечальных, полунеистовых звуков был человек по имени Фрэнк Виллерс, который со столь невероятным пылом теперь настойчиво сражался с виолончелью. Свой инструмент он обожал, и чем более неуправляемым тот становился в его руках, тем сильнее он его любил. Однако одно обстоятельство делало ему честь в этой связи: Фрэнк никогда не выступал на публике, никто никогда не слышал его игры – он наслаждался своим излюбленным увлечением в одиночестве и вполне довольствовался уже тем, что при случае, когда разговор заходил о музыке, он получал возможность сказать с намеренно скромным видом: «Мой инструмент – виолончель». Этого ему было довольно, и если кто-либо просил его продемонстрировать свой талант, то он легко отклонял такую просьбу со столь изящной робостью, что многие воображали при этом, что он, должно быть, поистине великий музыкант, которому недоставало лишь наглости и апломба для того, чтобы прославить своё имя.

Не считая виолончели, Виллерс также прослыл широко известным дилетантом в вопросах различных видов искусств. Он был превосходным ценителем литературы, живописи и скульптуры; дом его, хоть и маленький, являл собою совершенный образец вкуса в интерьере и обстановке, он умел остановить свой выбор на поистине прекрасных образцах антикварной мебели, изящного фарфора, изделий из бронзы и деревянной резьбы, а по части собирания редких книг он считался видным знатоком. Его тонкий и привередливый вкус проявлялся уже в самом методе расстановки многочисленных томов, каждый из которых помещался на удобных дубовых полках и всегда был под рукой, готовый для чтения.

Судя только лишь по внешности, немногие сочли бы Виллерса человеком проницательным и обладающим почти классической утончённостью, каковым он поистине и был; на вид

он казался скорее качком, чем эстетом. Широкая грудь и плечи, на которых плотно сидела круглая голова с крепкой, сильной шеей, в целом придавали ему упрямый и грозный вид, который полностью противоречил его натуре. Черты его открытого и румяного лица, не будучи красивыми, имели положительную привлекательность: довольно крупный рот, но с добродушными складками, в ярко-голубых глазах сверкали искорки врождённого чувства юмора.

Это был счастливый холостяк, свободный и независимый мужчина с более чем достаточными средствами для того, чтобы обеспечить взыскания его особого вкуса и все капризы. Он являлся соучредителем в стабильно процветающем банковском деле и имел достаточно времени для того, чтобы жить в своё удовольствие и умеренно трудиться. На вопрос, отчего он не женат, Виллерс отвечал с грубой и почти жестокой откровенностью, что до сих пор не встречал ещё женщины, разговоров с которой он мог бы вынести долее, чем один час.

Как критик, с чьим мнением считались, он ни во что не ставил английское искусство вообще, и его точка зрения имела вес в довольно крупном кругу влиятельных и богатых людей, которые, бывая у него в гостях, не могли не заметить совершенства его дома и редкостных коллекций, так что в конце концов они пришли к выводу, что для них было бы полезным проконсультироваться с ним прежде покупки картин, книг, статуй или китайского фарфора, так что он занял влиятельную позицию, будучи при желании способным при помощи одного своего слова открыть путь карьере или же уничтожить репутацию художника.

В этот момент Виллерс как раз поглядел на старинные часы, привезённые из Нюрнберга, которые торжественно тикали в углу, рядом с глубоким окном-нишей, занавешенным тяжёлыми оливкового цвета плюшевыми шторами, чтобы защититься от пронизывающего ветра и сырости. Было без десяти девять. Слуге был отдан приказ, чтобы никто не смел беспокоить хозяина в этот вечер, невзирая на то, какому посетителю вдруг взбрело бы в голову явиться. Он решил посвятить этот вечер длительным, энергичным упражнениям и ощущал тайное довольство, прислушиваясь к непрерывному звуку дождя за окном. Серьёзно потирая бровь, он переместил взгляд с часов на фотографию, изображавшую лицо мужчины с мрачным, надменным выражением и весьма отталкивающей красотой – лицо Теоса Олвина. Оттуда взгляд его перешёл на столик, где посреди многочисленных книг и бумаг лежал квадратный, просто оформленный томик с закладкой из слоновой кости, отмечавшей место чтения, а заголовок его золотыми буквами изображал:

«Нурельма».

«Я удивляюсь, где же он, – размышлял молча Виллерс, вспоминая автора этой книги. – Он не может не знать того, что известно всему Лондону, иначе он несомненно пулей возвратился бы сюда! Уже шесть месяцев минуло с тех пор, как я получил его письмо и рукописную поэму из Тифлиса в Армении, и ни единой строчки больше он не прислал мне об этом деле! Странный парень! Но какой гений! Неудивительно, что слава захлестнула его, как буря! Сейчас мир буквально ничего не знает о Теосе Олвине, его частной жизни или характере: нет ни женщины в его истории, ни пороков, он не нарушал ни закона, ни морали – не совершил ничего такого, что по современным меркам должно было бы сделать его знаменитым! Нет, он всего лишь создал совершенную поэму – величественную, чистую и трогательную – и вот все говорят лишь о нём, его книга в руках у каждого. И вместе с тем не нравится мне вся эта сумасшедшая шумиха, опыт подсказывает, что такой интерес недолговечен».

Как раз когда Нюрнбергские часы начали отбивать девять часов, сопровождая каждый удар мягким и нежным звоном колокольчиков, который разносился в тишине комнаты, стук в дверь потревожил Виллерса и решительно разрушил его спокойствие.

– Войдите! – ответил он.

Его лакей явился с полувиноватым, полудовольным выражением лица.

– Пожалуйста, сер, к вам джентльмен…

– Ты сказал, что меня нет?

– Нет, сер! Я думал, что как раз для него вы могли бы оказаться и дома!

– Ты ошибся! – вскричал Виллерс. – Как ты смеешь решать об этом, когда я отдал приказ никого не принимать?

– Ладно, ладно, Виллерс! – промолвил приятный голос снаружи с дрожью сдерживаемого смеха. – Не будьте таким негостеприимным! Уверен, что для меня вы дома!

И, пройдя мимо слуги, который тут же удалился, говоривший вошёл в комнату, приподнял шляпу и улыбнулся. Виллерс подскочил со своего кресла в счастливом удивлении.

– Олвин! – вскричал он, и двое друзей, чьё знакомство уходило корнями в детство, сердечно пожали руки, и на секунду оба замолчали, будучи не в силах справиться с эмоциями.

– Вот так сюрприз! – наконец выдохнул Виллерс. – Откуда ты приехал, старина?

– Только что из Парижа, – отвечал Олвин, стаскивая пальто и заглядывая за дверь, чтобы повесить его на знакомый ему

крючок в коридоре, а затем возвращаясь обратно. – Но изначально из Багдада. Я был в этом городе, а оттуда путешествовал в Дамаск, как один из наших любимых купцов из сказки об Аладдине, затем я заехал в Бейрут и Александрию, оттуда кораблём – домой, с остановкой в великолепной Венеции по пути.

Он улыбнулся и, подвинув старинное дубовое кресло к камину, уселся в него сам. Виллерс тем временем с интересом разглядывал его: нечто удивительное случилось с этим парнем! Он всегда был красавцем, но теперь в нём появилось нечто определённо большее, чем просто красота. Исключительная притягательность в этом блеске его нежных глаз, чудесная мягкость в очертаниях совершенного рта, королевская величественность и свобода во всей позе его прекрасно сложенной фигуры и в посадке благородной головы, которых прежде однозначно не было в нём заметно.

Очнувшись от мимолётного удивления, Виллерс вспомнил об обязанностях гостеприимства:

– Ты ужинал, Олвин? – спросил он, берясь за колокольчик.

– И превосходно! – был ответ, приправленный ярким прямым взглядом. – Я зашёл в этот огромный отель напротив Парка, поужинал и оставил там лишний багаж, взяв с собою лишь маленькое портмоне, нанял экипаж и прибыл сюда, решив провести ночку под твоей крышей…

– Ночку? – прервал его Виллерс. – Ты сильно заблуждаешься, если думаешь, что так легко сбежишь отсюда! Ты не избавишься от меня ещё как минимум месяц, говорю тебе! Считай себя заключённым!

– Хорошо! Пошли за моим багажом завтра! – засмеялся Олвин, поудобнее устраиваясь в кресле. – Согласен! Отдаюсь на волю своей судьбы! Но как же твоя виолончель?..

И он указал на выпуклый футляр, в котором сладко дремал инструмент, пока Виллерс отвлёкся, но готовый пробудиться от первого же прикосновения руки своего хозяина. Виллерс глянул на него с комичным выражением восторженного покорителя.

– О, не беспокойся о виолончели! – беспечно проговорил он. – Она может недолго отдохнуть…

Он пожал квадратными плечами и, надев очки, начал снова пристально изучать лицо своего друга с таким интересом, что Олвин даже смутился.

– Чего ты так смотришь на меня? – весело спросил он. – Я так сильно загорел?

– Ну да, ты загорел, – медленно кивнул Виллерс, – но не это

меня удивляет. Странно, что я не могу объяснить, в чём именно нахожу тебя весьма изменившимся! В самом деле, очень изменившимся!

– Изменившимся? Внешне, ты имеешь в виду? Чем же?

– Ты выглядишь как греческий бог: излучаешь сознательную силу и внутреннее счастье.

Олвин наклонился и поправил огонь, чтобы тот разгорелся ещё ярче.

– Что ж, в таком случае моя внешность не противоречит моим внутренним ощущениям, – спокойно сказал он после паузы. – Ибо я чувствую и силу, и счастье!

– Естественно! Конечно, весь мир для тебя переменился теперь, когда ты снискал такую сумасшедшую славу!

– Славу! – Олвин выпрямился внезапно, слегка напугав Виллерса. – Славу! Кто говорит, что у меня есть слава? – И глаза его возгорелись удивлением и почти надменным негодованием.

– Кто говорит? – рассмеялся его друг. – Да весь Лондон говорит! Ты хочешь сказать, что не читал английских газет и журналов, со всеми их критическими обзорами и обсуждениями твоей поэмы «Нурельма»?

Олвин поморщился, услышав это название, – что за странные воспоминания оно воскресило в его уме!

– Я ничего не видел! – поспешно отвечал он. – Я принял решение не читать газет, ибо не желаю больше видеть своё имя оскорбляемым критикой в этой стране. Впрочем, мне нет дела до этого теперь! По правде сказать, я вообще уже об этом не забочусь.

– Тогда, – возбуждённо начал Виллерс, схватив его за руку, – позволь мне первым поздравить тебя! Знай же, мой дорогой друг, что твоя поэма, которую ты выслал мне из Тифлиса и которая была опубликована под моим руководством около четырёх месяцев назад, уже выдержала шесть переизданий и сейчас готовится к седьмому. Спрос не утихает, имя твоё сейчас по сути самое известное во всём Лондоне, фактически, тебя все называют величайшим поэтом современности!

Олвин молчал, он возвратил своему другу сердечное рукопожатие почти бессознательно и теперь серьёзно смотрел в огонь. Первой его эмоцией было отвращение, несогласие! Слава в Лондоне! Чего она стоила в сравнении с блеском той популярности, коей он когда-то пользовался, будучи Лауреатом Аль-Кириса!

– Да ладно! – проговорил наконец Олвин. – Ты не заставишь меня поверить в то, что вся Англия вот так запросто приняла меня в единодушном порыве! Как же началась моя слава? Если

моя книга столь внезапно заслужила высокое одобрение и известность, значит, какие-нибудь ведущие критики, или вроде того, решили, будто сам я умер!

– Ты слишком догадлив, Олвин! Поистине, ты слишком догадлив! – кивнул Виллерс с дружелюбной улыбкой. – Ты совершенно прав! Не один критик, а целых три! Три самых влиятельных человека решили, что ты мёртв и что «Нурельма» стала посмертно изданным шедевром погибшего гения!

Глава 23. Призраки Забастеса и Мира-Кабуры

Торжественный тон, каким были произнесены эти слова, породил у Олвина и Виллерса неудержимый порыв смеха, так что в течение нескольких минут они весело хохотали, будучи не в силах остановиться.

– Это не моих рук дело! – сказал Виллерс, наконец отсмеявшись. – «Нурельма» была опубликована через прессу, согласно твоим же инструкциям, так скоро, как только это было возможно, и я не прибегал ни к каким предварительным рекламным трюкам и не давал анонсов. Я лишь снабдил поэму кратким пояснением: «Нурельма, Древняя легенда о любви», автор Теос Олвин. И всё. Но когда она вышла в печати, её копии разошлись по всем ведущим газетам и журналам, и примерно три недели я не слышал и не видел ни единой строчки, написанной о ней. Тем не менее я продолжал следить за отзывами, когда однажды, находясь в Конституциональном Клубе, я вдруг заметил в газете «Партенон» длинную рецензию на четыре колонки под заголовком: «Чудесная поэма». Я помню первое предложение оттуда: «Поистине, одарённым божественной любовью суждено умирать молодыми!» В середине отзыва я прочёл, что «эта посмертно изданная поэма должна быть признана наиболее выдающимся произведением английской словесности». Эти строки породили догадку мою о том, что критик явно никогда не слышал имени Теоса Олвина прежде, и поэтому, находясь под впечатлением от красоты слога и великолепия замысла поэмы, он без всяких оснований скакнул к выводу, что автор её умер. «Как жаль, что столь ярко одарённого поэта больше нет с нами. Живи он дальше, он, несомненно, принёс бы миру величайшие произведения человеческого гения». По здравому рассуждению я решил пока оставить этого скорого на суждение автора в неведении касательно твоей истинной судьбы, в первую очередь по той причине, что критики вообще не любят, когда им противоречат, а во-вторых, потому что просто хотел повеселиться. Пока я медлил, ещё два критика из самых влиятельных журналов присоединились к прославлению «погибшего гения»: «Явись Теос Олвин в Англию сегодня, он бы непременно был избран в лауреаты высшей литературной премии!» К этому времени я уже довольно поглумился над ними, так что решил написать издателю о том, что произошла ошибка. Однако издатель ответил мне, что «Нурельма» теперь пользуется таким невероятным

спросом, что было бы неразумно разубеждать читателя в смерти её автора, рискуя потерять драгоценный спрос. Но я был непреклонен в этом вопросе и сам решительно написал несколько писем ведущим журналам, поведав о том, что ты жив и находишься в добром здравии. Но самое смешное случилось дальше! Вся пресса тогда поворотила вспять в своих суждениях, как флюгер на ветру, начав всячески оскорблять твоё имя и поносить «чудовищную, дурно написанную поэму». Ты и сам можешь ознакомиться со всей критикой, поскольку я тщательно собирал для тебя вырезки из журналов и газет. Замечу только, что лишь первые три критика и «Партенон» остались при своём первоначальном положительном мнении, ибо для таких изданий несолидным было бы признавать свои ошибки. Тем не менее продажи «Нурельмы» ещё больше подскочили, все расходы на публикацию уже трижды окупились, так что сегодня в издательстве тебя ждёт приятный чек на кругленькую сумму!

– Я пишу не ради денег! – быстро прервал его Олвин. – И я намерен избавиться от неё!

– Конечно нет! – кивнул Виллерс. – Во всяком случае, не только. Такова, друг мой, история прославления твоей поэмы. Своей высокой популярностью и неукротимым спросом, она продемонстрировала истинную независимость вкусов читателя от мнения прессы и литературных критиков, поскольку сегодня каждый культурный человек имеет дома экземпляр твоего произведения. Лично я добавлю от себя, что никогда ещё не читал ничего столь великолепного! Каким образом тебе пришла в голову идея её создания?

– Это было давно! – отвечал Теос. – И, уверяю тебя, идея поэмы вовсе не оригинальна!

Виллерс воззрился на него с удивлением:

– Нет? Ну а мне она показалась исключительно оригинальной! Более того, один критик даже назвал тебя чересчур оригинальным!

Олвин слегка усмехнулся. Мысли его снова унеслись к воспоминаниям о приключении в Аль-Кирисе, он вспомнил, как нёс на руках труп самого себя в прошлом воплощении в лице Сах-Лумы, и слышал гневные поношения Забастеса в адрес его творчества.

– Кстати сказать, Олвин, твой давний знакомый, профессор Моксал, весьма недоволен твоей поэмой. Он называет её «слишком прозрачной, сплошным абсурдом и полной чушью». Этот человек очень верит в науку и питает глубокое презрение к религии. «Тот, кто признаёт существование иной жизни за гранью нашей нынешней, сам провозглашает себя

сумасшедшим! – пишет он. – „Нурельма“, как я понял, нечто вроде языческой поэмы, но по своему содержанию и невероятности выдвигаемых идей и описаниям чувств, автор более походит на христианина!» Профессор Моксал был так возмущён твоим произведением, что даже произнёс целую речь в Сент-Джордж Холле перед такими же скептиками, как и он сам, с целью объяснения всей абсурдности содержания твоей книги.

Олвин печально улыбнулся, мягкое сочувствие загорелось в его глазах.

– Бедный Моксал! – сказал он. – Мне жаль его! Он делает жизнь пустой как для себя самого, так и для других, которые принимают его теории! И боюсь, что его разочарование во мне будет всё возрастать, ибо поистине я и есть христианин!

Виллерс вздрогнул, раскрыв рот в немом удивлении. Он едва верил своим ушам, а Олвин встретил его взгляд решительно и спокойно.

– Каким ты выглядишь удивлённым! – сказал он. – Религия, должно быть, весьма отстала, раз в так называемой христианской стране ты поражаешься, когда человек открыто выражает свои взгляды и называет себя последователем Христа!

Настала краткая пауза, во время которой в гостиной раздавались лишь звуки тикающих часов с музыкальным боем. Затем Виллерс, находясь всё ещё в глубочайшем удивлении, пересел на стул напротив Олвина, развязно закинув ногу на ногу.

– Приятель, – начал он, – ты и в правду так в этом уверен?

– Да, и повторяю, что я верю в истинного Бога – в Христа!

– А я думал, Олвин, что ты полностью отрицаешь идею божественности Христа, как простое суеверие или сказку!

– В слепом безумии прошлой моей жизни так и было, – спокойно отвечал Теос. – Но у меня был шанс осознать, что лишь собственная неспособность понять сверхъестественное приводила к этому отрицанию.

– Что ж, в одном я был прав, Олвин! Ты и впрямь изменился! Но, кажется, что эта перемена в тебе к лучшему!

– Судя по моему личному опыту, я должен сказать теперь, что человек без веры подобен тому, кто обкрадывает самого себя и будто бы шагает по земле нагишом! Странным образом, несмотря на все противоречия, рождавшиеся в моей голове при мысли о христианстве, я в душе всегда поклонялся только Христу.

– Я часто думал, – проговорил Виллерс, – что все мы ангелы или демоны: ангелы – в моменты наших лучших душевных устремлений, а демоны – во время худших. Если бы только нам дано было удерживаться на вершине благородства постоянно! Но, увы, грешная природа человека побеждает! Но, Олвин, ты

говоришь, что намерен избавиться от своей поэмы? – И он протянул ему красиво оформленный томик.

– Прекрасное издание! – промолвил Теос. – Оформлено со вкусом. Ты проделал прекрасную работу, Виллерс, и я тебе очень обязан!

– Ты мне ничем не обязан, друг! – весело возразил Виллерс.

– Но довольно с меня «Нурельмы», – отвечал Теос, – я возьму себе копию просто как сувенир на память, но, что касается денег, пусть книга принадлежит людям и пусть люди делают с нею что хотят!

Виллерс озадаченно нахмурил брови.

– Теперь я вижу, Олвин, что ты и вправду не заботишься о славе!

– Нисколько!

– А когда-то ты жаждал её, как самого великого блага!

– Действительно! Но теперь я понял, что есть гораздо более важные вещи, которых я жажду больше всего на свете. Я не ищу невозможного, а лишь хочу вернуть утраченное.

– И что же это?

– Ухватить вечность, сокрытую за завесой видимого.

Настала тишина, во время которой Виллерс задумчиво глядел на друга.

– А о каком приключении ты упоминал мне в письме, написанном в Дарьяльском ущелье? Ты его испытал?

– Несомненно! – улыбнулся Олвин.

– Оно касается путешествия к развалинам Вавилона? Ты не расскажешь мне о нём?

– Не сейчас, – добродушно отвечал Олвин. – Но я обязательно поведаю тебе о нём позже.

Виллерс, нисколько не обидевшись, пожал руку другу. После скромного ужина Олвин отправился в уютную гостевую комнатку, которая почти всегда принадлежала ему в этом доме. Виллерс пожелал ему доброй ночи и ушёл. После этого Теос вытащил из нагрудного кармана свой драгоценный талисман – цветок в поля Ардаф и, погасив лампу, долго ещё наслаждался прекрасным ароматом его нежных лепестков.

Глава 24. Письмо

К концу недели новость о приезде «в город» Теоса Олвина, знаменитого создателя «Нурельмы», широко распространилась в литературных и артистических кругах. Согласно классическому выражению ведущего общественного журнала: «М-р Теос Олвин, поэт, которого некоторые из наших современников по ошибке объявили мёртвым, возвратился в Лондон из своего путешествия по Востоку. И теперь он гостит у многоуважаемого Фрэнсиса Виллерса». Последствием этого и прочих подобных объявлений стал тот факт, что почтальон практически ночевал у дверей Виллерса, и каждый раз сумка его была полна писем и карточек, по большей части адресованных самому Виллерсу, который с некоторой тревогой наблюдал за тем, как на его рабочем столе постепенно нарастала гора корреспонденции, среди которой встречались разнообразные приглашения на ужины, вечера, танцы, балы и тому подобное. Некоторые приглашения приходили от восторженных поклонниц, которые просили «оказать им чрезвычайную честь своим появлением», не забыв при этом привести с собою и знаменитого «светского льва», почтенного м-ра Олвина. А тот, открывая очередной конверт, молча поражался тому, как внезапно разросся круг его самых преданных друзей и поклонников.

– Можно подумать, что все эти люди и впрямь любят меня! – сказал Олвин одним утром, с отвращением выбрасывая в корзину письмо от одной исключительно непристойной особы, известной своими вульгарными похождениями в обществе. – Но при всём этом они ничего обо мне не знают. Я мог бы быть самым отъявленным негодяем, однако при том, что мне удалось написать «успешную» книгу и я стал «кем-то» в литературном мире, им нет дела до моих вкусов, морали и положения! Если вся слава этого мира такова, то могу с уверенностью сказать, что она отдаёт весьма тошнотворной вульгарностью!

В этот момент стук в дверь прервал его размышления. Слуга вошёл, неся дорогой конверт с гербовой печатью и золотыми краями. Виллерс, кому он был адресован, раскрыл его и начал читать.

– Это приглашение от герцогини де ла Сантосье. Она просит нас отужинать с нею на следующей неделе – будет вечеринка на двадцать человек, а затем приём. Думаю, нам лучше его принять, что скажешь?

– Всё что угодно для тебя, друг мой! – весело отвечал Олвин. – Но я понятия не имею, кто такая эта герцогиня де ла

Сантосье!

– Не знаешь? Ну, она англичанка, вышедшая замуж за французского герцога. Он самодовольный старик, весьма учтивый и прекрасный образчик совершенного эгоизма. Истинный парижанин и, конечно же, атеист, весьма убеждённый атеист, уверенный в собственной непогрешимости. Жена его пишет романы, которые слегка похожи на произведения Золя, она чрезвычайно остроумная и острая на язык дама, обладающая редким хладнокровием. Она питает невероятное уважение к гению, потому что и сама представляет собою образец редкой непосредственности. В её доме всё самого лучшего качества, и люди, которых она принимает, тоже самого высшего сорта. Её приглашение станет, по крайней мере, одним из самых искренних из всех полученных тобою, так что я думаю, несмотря на твою любовь к уединению, тебе следует показаться у неё.

– Твоё описание меня не сильно привлекает, – с сомнением отвечал Олвин. – Я не выношу порождённых девятнадцатым веком женщин-гермафродитов мужеподобного сорта.

– Но она совсем не такая, а наоборот, чрезвычайно прекрасна!

Олвин пожал плечами с безразличным видом. Его друг, завидев скептический жест, рассмеялся.

– По-прежнему равнодушен к женским чарам, старина?

Олвин слегка вспыхнул.

– Не совсем, – отвечал он спокойно. – Были времена, когда физическая красота могла серьёзно увлечь меня. Однако сейчас, если твоя герцогиня окажется такой, как королевская дочь из псалмов Давида, – прекрасная снаружи, но прогнившая изнутри, – то вся её прелесть нисколько на меня не подействует. А теперь, если ты не против, я закроюсь в своей комнате на часок. Заходи ко мне, если соскучишься, ты нисколько меня не побеспокоишь.

Однако Виллерс удержал его, не спуская с него вопросительного взгляда.

– В тебе появилось некое исключительное качество, Олвин, – сказал он с подозрительным видом, – нечто таинственное, притягательное. Что же это такое? Думаю, что твоё путешествие к руинам Вавилона имело более серьёзные последствия, чем ты мне признаёшься. Думаю, ты влюблён!

– Влюблён! – Олвин рассмеялся. – Какой глупый термин, заранее подразумевающий возможность «выйти из» этого чувства! Скажи лучше, что я люблю! И будешь ближе к истине. А сейчас не нужно ни о чём меня расспрашивать, сегодня же вечером в библиотеке я поведаю тебе всю историю моего приключения в Вавилоне!

И, махнув на прощание рукой, Олвин вышел из комнаты, а Виллерс прислушивался к его шагам по лестнице на пути к его комнате наверху, где он завёл обыкновение каждое утро в течение двух-трёх часов непрестанно что-то писать. С минуту Виллерс постоял, прислушиваясь, а затем повернулся к столу, чтобы сочинить герцогине положительный ответ на её приглашение.

Глава 25. Против всех

Прекрасная и популярная в обществе герцогиня де ла Сантосье восседала за своим великолепно накрытым столом и сверкала ярким взглядом вокруг себя – её гости были в сборе. Она выбрала двадцать самых известных мужчин и женщин со всего Лондона, и всё же не была всецело удовлетворена полученным результатом. Ибо одно серьёзное, прекрасное лицо справа от неё затмевало шикарный лоск всех остальных – одна спокойная, учтивая улыбка автора «Нурельмы», успешного поэта, чьё согласие явиться сюда она так легко заполучила, но который оказался человеком совершенно иного сорта, чем она могла ожидать, так что теперь она решительно не представляла, что ей с ним делать. Это был тот тип, к которому она оказалась не готовой, в чьём присутствии ощущала теперь неловкость и почти дискомфорт. И герцогиня была далеко не единственной в своём смущении. Появление Олвина стало своеобразным откровением для собравшихся здесь томных, модных гостей, которые теперь обменивались удивлёнными взглядами, отмечая непохожесть этого человека на общеизвестный тип нервозного, измотанного, диспепсического литератора!

А он тем временем, совсем не замечая того эффекта, который производил своим присутствием, гадал, отчего этим высокопоставленным особам совершенно не о чем поговорить. Темы их диалогов были банальны и скучны: погода, парки, театры, новые актрисы…

Герцогиня тем временем всё более и более внутренне раздражалась, и её маленькая ножка нетерпеливо выстукивала под столом нервную барабанную дробь, пока она учтиво отвечала на незначительные реплики собравшихся, то и дело бросая раздражённые взгляды на своего мужа-герцога – худого, похожего на военного человека с напомаженными усами, чьё лицо напоминало невыразительную маску. Это лицо не говорило абсолютно ни о чём, и всё же за завесой его бесстрастности горел живой, гражданский ум, рождённый воспитанием Парижа. В этот особенный вечер герцог притворялся, будто не замечал острых взглядов своей прекрасной супруги, которые, казалось, говорили: «Отчего ты не предложишь какой-нибудь интересный предмет для обсуждения, чтобы объединить все эти разрозненные реплики собравшихся за столом?» Герцог был восхищён физической силой и красотой Олвина, его благородным лицом и прекрасной фигурой, хотя о гении поэта он ничего и не знал. Для него было довольно и того, что все считали его блистательным писателем,

и неважно было, насколько он в действительности заслуживал такой оценки.

Виллерс, чьё остроумие и красноречие обычно украшало подобные вечера, сегодня тоже был необычно молчалив. Он выслушал всю историю о поле Ардаф и теперь не знал, как ему к ней относиться, так что, в конце концов, он пришёл к простому логическому объяснению: транс в монастыре Дарьяльского ущелья совместно с чтением отрывков из книги пророка Ездры породили в живом воображении Олвина необычайное видение, которое тот принял за реальность. Виллерс тактично сообщил другу о своих сомнениях, но два момента по-прежнему не давали ему покоя: во-первых, что друг его заметно переменился к лучшему, из саркастичного, угрюмого и разочарованного в жизни человека превратившись в свободную и счастливую цельную личность; во-вторых, он поистине более не заботился о своей славе, воспринимая её с детской непосредственностью. Наконец, Виллерс видел, что Олвин вновь пишет поэму, грандиозность замысла и красота слога которой поразили его уже при беглом взгляде.

Его друг-поэт сидел теперь, слегка откинувшись на спинку стула, с видом отчасти разочарованным и немного удивлённым, как бы молчаливо вопрошая: «И это и есть твоя блистательная герцогиня? Твоё культурное и остроумное общество?»

– Боюсь, – с улыбкой начала разговор герцогиня, обращаясь к Олвину, – что наше общество кажется вам скучным после вашего путешествия за границу? Поистине, здешний климат очень угнетает, если бы только у нас было больше солнца, мы непременно стали бы веселее, подобно людям восточным, не правда ли?

– Напротив, я нахожу восточных людей весьма серьёзными и строгими в отношении образа жизни, который они ведут, – отвечал Олвин. – Они воспринимают свою жизнь как непрестанное служение своему божеству, причём даже будучи бедными, в то время как англичане при всём обилии вещей и богатств часто забывают о самоценности жизни.

– Но что такое жизнь без денег? – удивилась герцогиня. – Уверена, такая жизнь не стоит борьбы за неё!

Олвин одарил герцогиню пристальным взглядом, но спорить отказался.

– Это аргумент, который я не хотел бы оспаривать, поскольку подобная дискуссия способна завести нас довольно далеко, – отвечал Олвин. – Я лишь замечу, что жизнь всегда стоит борьбы, если только человек живёт правильно.

– Пожалуйста, поясните, как это вы отделяете жизнь

от мирских благ? – спросил его насмешливого вида джентльмен напротив. – Жизнь и есть мир, и все вещи в нём; когда мы теряем мир, то теряем и самих себя – умираем, короче говоря. И на этом всё кончается. Такая вот практическая философия.

– Может быть, это и зовётся философией, – возразил Олвин, – но это не Христианство.

– О, Христианство! – прыснул этот джентльмен с презрением. – Это же система верований, которая уже отмирает! Фактически, у научных и культурных слоёв общества она уже отсутствует.

– Неужели? И какую же замену религии предлагают сегодня этим научным и культурным слоям общества?

– Нет надобности ни в какой замене! – довольно нетерпеливо заметил джентльмен. – Для тех, кому так нужно верить в сверхъестественное, есть множество различных идей – эзотерика, буддизм, вера в науку, например, однако для наиболее серьёзных мыслителей религия вовсе не нужна.

– Нет, думаю, нам всё же необходимо чему-либо поклоняться, например собственному эгоизму! – усмехнулся Олвин. – «Я сам» – это великолепное божество! Весьма удобное и всегда готовое простить любой грех! Отчего бы нам не начать строить храмы и возводить алтари во славу и честь собственного Я?

Его саркастический тон заставил всех гостей внимательно прислушаться к разговору, а сердце Виллерса гулко застучало в груди, ибо он понял, на какую зыбкую почву ступил его друг в дискуссии с этими людьми, насквозь пропитанными атеизмом и готовыми насмехаться над самой идеей религиозности человека. Он сам ненавидел споры о вере, но в то же время он знал, что люди, истинно убеждённые в своих взглядах, никогда не теряют лица в таких ситуациях. Герцог тем временем повернулся с очаровательно важным видом в сторону Олвина.

– Мне думается, что м-р Мадли, – он указал на скептического джентльмена, – прав в этом вопросе. Нравственность каждого человека, если должным образом отточена, является вполне достаточным руководством к достойному существованию, исключая всякую дополнительную надобность в каком-либо Боге.

– Чтобы направлять людей при помощи одной только нравственности, – возразил Олвин, – вам сперва нужно убедить их в том, что нравственность эта действительно существует, вместе с налагаемой ею ответственностью. Вы найдёте это весьма сложным делом при отсутствии Бога, ибо, решившись привести всех людей к некому вселенскому стандарту добропорядочности, поймёте, что понимания о ней у всех народов очень сильно разнятся. В некоторых странах считается нравственным делом

иметь несколько жён, в других – топить в реке детей женского пола, в третьих – зажарить на ужин своего дедушку! Однако предположим, что вам это удалось и все философы и учителя нравственности единодушно объединились под сенью единого морального кодекса, но тогда остаётся неясным ещё, чьей властью вы утверждаете этот кодекс? И по какому праву? Вы можете сказать «именем Науки и по праву Морали», но, коль скоро вы не признаёте никакого духовного или божественного вдохновения за своим законом, то вы столкнётесь с массой оппонентов, которые начнут уверять вас, что уж их-то судьи справедливее и вернее ваших критериев. Поэтому надобно нечто высшее, чем простая нравственность, надобна ещё духовность, инстинктивное понимание собственного бессмертия человеком с той целью, чтобы научить его нести ответственность за собственную жизнь. Культурные, образованные и вышколенные люди могут неплохо жить со своей нравственностью какое-то время, но без твёрдой веры в Бога они непременно впадут в бездны порока, когда в собственном эгоизме вообразят себя стоящими вне всякой опасности.

Наставшую краткую паузу после этих слов первой нарушила герцогиня:

– У вас очень благородные идеи, м-р Олвин! Но, я боюсь, ваше понимание как божественных, так и человеческих законов несколько приправлено поэтическим воображением и не может быть воплощено в жизнь. И в последнее время мы и вправду наблюдаем серьёзный упадок веры в душах людей.

– Веру нельзя навязать или заставить следовать ей! Только лишь сам Бог способен открыться человеку, убедив его в своём существовании. И такая вера, когда она истинна, уже не подвержена никаким влияниям извне! Женщины лучше чувствуют Бога, они всегда готовы сердцем откликнуться на его зов, поэтому самая печальная тенденция в обществе – это отречение от Бога женщины! Если женщина не учит своих детей молитве «Отче наш», то такое общество, несомненно, уже движется к своему печальному концу.

При этих словах на глазах герцогини выступили слёзы, потому что она вспомнила своё собственное милое, невинное дитя, погибшее в столь раннем возрасте. Вспомнила, как она, невзирая на все свои современные взгляды, целовала эти маленькие ручки, когда складывала их для вечерней молитвы; вспоминала, как её малыш с любовью обхватывал её за шею, с невыразимой любовью и лаской глядя на мать. Тяжкий вздох сорвался с губ благородной герцогини при мысли об этой тяжкой утрате.

– Мне хотелось бы, – вдруг вставил замечание бородатый индивидуум, – напомнить о том, что кроме христианства есть ещё множество содержательных религий, как, например, буддизм! Я мог бы просветить вас по поводу глубокого содержания этого фундаментального учения.

– Не стоит утруждать себя, – улыбнулся Олвин, – должен заметить, что прежде моего обращения в Христианство я подробнейшим образом изучил и буддизм, и многие другие религии, но нашёл их совершенно несостоятельными в сравнении с той высотой совершенства духа, которую раскрывает перед нами Христианство. И я пришёл к однозначному выводу о том, что лишь Христос способен привести человека к истинному счастью, причём как в этом мире, так и в следующем.

После этого высказывания Олвин умело увёл разговор в иное русло и переключился на музыку, искусство, науку и политику. Собравшиеся охотно подхватили более удобные для себя темы и теперь полностью сбросили первоначальное смущение и неловкость, и разговор легко протекал в непринуждённом стиле.

Вскоре ужин закончился, и герцогиня первая подала всем остальным сигнал к выходу, поднявшись со своего места. Из обеденной гости вышли дружной толпой в гостиную, где уже ожидали прочие приглашённые на приём. Богато украшенная азалиями и редкими пальмами зала встретила вошедших приятной прохладой и мягким освещением. Олвин погрузился в свои размышления, пока шелест тяжёлого платья не заставил его встрепенуться и выпрямиться перед подошедшей к нему герцогиней.

– Ах, вы ускользнули от нас, м-р Олвин! Я не удивлена, ведь эти приёмы так утомительны!

– Тогда зачем вы их устраиваете? – спросил Олвин с улыбкой.

– Потому что это модно, я полагаю! – был ответ. – М-р Олвин, я должна поблагодарить вас!

– За что же? – удивился он.

– За ваши сегодняшние слова. Мы живём в ужасный век, когда ни у кого нет достаточной веры, ни надежды, ни милосердия, смерть стоит за нашей спиной как окончательный итог всего, а жизнь, какою живёт большинство людей, заслуживает лишь крайнего презрения! Ваши чётко высказанные взгляды внушили мне некоторую надежду на то, что не всё ещё потеряно, но, поверьте, вы обязательно встретите разочарование в своём стремлении к высшему благу; вы узнаете, что большинство людей невежественны, жестоки и беспечны и вечно насмехаются над тем, чего они не понимают или же не желают

понять; для вашего же блага было бы лучше вам покинуть наш круг. Чтобы переубедить таких как мы, не достанет и второго пришествия Христа! Кроме того, помните, что все мы читаем Дарвина и так очарованы своими обезьяньими предками, что делаем всё возможное, чтобы поскорее возвратиться в своё исходное состояние!

И на этой последней печальной шутке она отошла от него, возвратившись к гостям. Вскоре Олвин отыскал Виллерса и предложил вернуться домой.

– Уже устал от собственной популярности? – усмехнулся Виллерс, беря друга под руку.

Олвин улыбнулся, припомнив тщеславие Сах-Лумы из Аль-Кириса.

– Если всё, о чём я рассказал тебе вечером, было правдой, то я уже пресытился всеми этими почестями давным-давно! Вероятно, по этой причине моя слава кажется мне такой никчёмной и обременительной теперь. Но я думал не о себе, а о том, как моя приобретённая вера может повлиять на других людей. Я ведь сейчас один против всех!

– Тем не менее древняя мудрость гласит, что один герой порождает тысячи, – спокойно сказал Виллерс. – И несомненно, что даже самое огромное количество всегда начинается с одного!

Олвин встретил его улыбающийся взгляд, и двое друзей молча направились домой.

Глава 26. Гелиобаз

Через несколько дней одним прекрасным утром Олвин прогуливался по Парку, наслаждаясь радужным блеском наступающей весны, вдыхая её нежные ароматы, которых не мог заглушить даже Лондон, пока цвели гиацинты, фиалки и деревья. Солнце сияло так ярко, как только могло сиять в столице Англии, посылая свои сверкающие лучи на влажную листву и оживляя маленькие крокусы. Чёрный дрозд насвистывал прелестную мелодию в ветвях орехового дерева, и Олвин, все чувства которого находились в совершенной гармонии с окружающей природой, на миг остановился, чтобы послушать нежное щебетание благословенного менестреля, присев на одну из парковых скамеек. Он не обратил внимания на высокого, статного мужчину, приближавшегося к нему лёгкой, плывущей походкой, человека, чьё прекрасное лицо и неповторимые манеры заставляли многих прохожих глядеть на него в смутном удивлении. Олвин, однако, поглощённый своими мыслями, никого не замечал и уже собирался продолжить прогулку, когда вдруг резко обернулся и оказался лицом к лицу с незнакомцем, который поднял в приветствии шляпу и улыбнулся. Один потрясённый взгляд, узнавание – и Олвин подскочил, радостно схватив его руку.

– Гелиобаз! – вскричал он. – Возможно ли это?!

– Почему бы и нет? – весело отвечал Гелиобаз. – Неужели же я настолько не вписываюсь в этот мир?

Олвин глядел на него с удивлением и недоверием, он едва мог верить собственным глазам. Казалось невероятным повстречать в деловом и шумном центре столицы этого набожного, серьёзного халдейского философа, таинственного монаха с Кавказских гор. Но, вне всяких сомнений, это был именно он, хоть и одетый в повседневный костюм, не способный, однако, испортить его величественного вида и личного обаяния.

– Но откуда вы здесь? – спросил тогда Олвин, стряхивая с себя первое удивление. – Я полагал, что вы непрестанно живёте в уединении, закрывшись от мира…

– Так и есть! – кивнул Гелиобаз. – Кроме случаев крайней необходимости. Наш орден не настолько замкнутый, чтобы не разрешить братьям покидать их уединение при сильной надобности. Нередко мне и моим братьям приходится смешиваться с толпою обычного мира. Я направляюсь в Мехико, а в Лондоне у меня есть дела, я прибыл пару дней назад и останусь здесь ещё на пару дней. Рад встретить вас случайным

образом, поскольку иначе мне пришлось бы разыскивать ваш адрес, а я не был уверен, что вы с радостью примете меня у себя.

– Конечно же принял бы! – начал Олвин, но затем вспыхнул, припомнив свой прошлый скептицизм и недоверие к невероятным способностям этого человека, которые он испытывал в Дарьяльском монастыре.

– Я повсюду слышу разговоры лишь о вас, м-р Олвин, – продолжил Гелиобаз, – ваша слава теперь и в самом деле безгранична! От всего сердца я поздравляю вас с тем, что вы обрели желаемое!

Олвин улыбнулся, остановив свой ясный чистый взгляд на собеседнике.

– Благодарю вас! Но вы, который умеет проникать в сокровенные глубины человеческих душ, судите сами по моему виду, во что ценю я теперь обретённую ныне и столь желанную когда-то славу.

Гелиобаз пристально посмотрел на своего собеседника и отметил, какая удивительная перемена совершилась в этом человеке, который всего лишь несколько месяцев назад явился к нему, полностью отчаявшимся и разочарованным в своей жизни неудачником, который был погружён в самые глубины безбожия, слепоты и безнадёжности. И как сильно он теперь переменился! Здоровье, сила и счастье светились в каждом его движении и слове, глаза обрели блеск, походка – уверенность, осанка распрямилась, так что Олвин предстал теперь пред ним писаным красавцем.

– Очевидно, ваше приключение в развалинах Вавилона оказалось не совсем напрасным? – мягко спросил Гелиобаз. – Ваш вид излучает счастье, ваша жизнь теперь стала цельной?

– Цельной? Нет! – Олвин вздохнул несколько нетерпеливо. – Она не может быть цельной без той, которую я повстречал на поле Ардаф!

И он вкратце поведал всю историю своих приключений, включая знакомство с Идрис, путешествие в Аль-Кирис и встречу с Сах-Лумой. Гелиобаз слушал молча, и лишь его пристальный взгляд выражал крайний интерес, который он испытывал к рассказу.

– А теперь, – в заключение промолвил Олвин, – я постоянно вспоминаю, как покинул мёртвого самого себя в горящих руинах города мечты прошлого. И мне порой мерещится, что тень его до сих пор со мною! Я смотрю в зеркало и замечаю черты прекрасного Сах-Лумы, чьим гением я так восхищался и которого искренне полюбил. Ведь мы с ним так похожи! По правде сказать, лишь одна черта его характера не передалась мне: беспечное

пренебрежение истинной любовью, верным сердцем, таким, какое было у Нифраты, чьё нежное лицо до сих пор встаёт пред моим внутренним взором печальным воспоминанием, а также его гибельная страсть к порочной красоте жрицы зла. Этого я понять так и не сумел, зато я прекрасно усвоил другой урок, осознав, что ни один человек не может по-настоящему знать себя самого и тайных глубин собственной порочности. И, как обстоят дела, я со всех сторон окружён затруднениями, ибо с тех пор как моя «Нурельма» снискала популярность, друзья и знакомые всячески убеждают меня, что я велик! Но я-то знаю, что даже по отношению к моей неземной Идрис я остаюсь последним негодяем и эгоистом!

– Отчего же? – спросил Гелиобаз с серьёзным взглядом, внутренне восхищаясь своим собеседником.

– Я хочу заполучить её! – просто сказал Олвин. – Мечтаю каждую секунду лишь о ней и до сих пор не могу забыть её слов о том, что мы не встретимся раньше моей смерти, или же пока она не снизойдёт ко мне с Небес! Однако это невозможно!

– В большинстве случаев – невозможно, но в вашем случае я не мог бы поручиться, что этого не будет, – пожал плечами монах. – Господь всемогущ, и ему всё возможно! Вы любите её, а она любит вас, подумайте о том, что даже в Раю она может быть несчастна без вас!

– Друг мой, – опустил голову Олвин, – лучше не будем говорить об этом, для меня проще думать о ней, как о чём-то недоступном и далёком, иначе я сойду с ума!

– Вижу, что данная тема сильно вас печалит, – мягко заметил Гелиобаз. – Довольно о ней, напомню только вам о том, что когда Спаситель переживал страшную агонию в Гефсиманском саду, при всей его силе, знаниях и власти он всё же сказал: «Не моя воля, но твоя да будет!», после чего ему явился настоящий ангел и стал утешать и укреплять его силы! Подумайте об этом, потому что каждая мелочь в Евангелии чему-либо учит нас, и часто случается так, что когда мы отказываемся от счастья из добрых побуждений, то счастье приходит к нам само!

Олвин вспыхнул под его взглядом, но промолчал, и вместе они несколько минут шли молча, не обменявшись ни словом.

– Вы теперь пишете что-нибудь новое? – спросил наконец Гелиобаз. – Или отдыхаете от трудов литератора?

– Да, пишу. Это дарит мне истинное удовольствие, но не уверен, что столько же удовольствия получу от прочтения написанного в будущем.

К этому времени они уже подошли к воротам огромного Парка, и Гелиобаз, указав на огромное квадратное здание

напротив, сказал:

– В этом отеле я остановился. Вы позавтракаете со мной? Я совсем один.

Олвин радостно кивнул – ему вовсе не хотелось так скоро расставаться с этим человеком со столь спокойными манерами и обладающим такой рассудительностью.

Глава 27. Утраченный манускрипт

– Как сильно я ошибался в вас когда-то, Гелиобаз! – с раскаянием проговорил Олвин. – Вы ведь сможете меня простить за это?

Гелиобаз улыбнулся и сердечно протянул руку навстречу другу.

– Вам не в чем извиняться! – отвечал он. – Наш век порождает сомнения в сердцах людей, вы прежде были одним из скептиков, но сейчас изменились. Я хотел бы серьёзно поговорить с вами сегодня, потому что в будущем мы можем долго ещё не встретиться. Скажите мне, вы рассказывали кому-либо ещё о вашем приключении на поле Ардаф?

– Одному своему другу, старому школьному приятелю Фрэнку Виллерсу, – отвечал Олвин.

– И как он отнёсся к вашему рассказу?

– Он посчитал, что я попал в плен собственной богатой фантазии, – усмехнулся Олвин.

– Он прекрасный парень, раз так снисходительно судит о вас после этого рассказа, – заметил Гелиобаз спокойно. – Большинство людей назвали бы вас безумцем!

– Безумцем! – вскричал Олвин. – Но я в полном здравии, как умом, так и телом!

– Я бы сказал, что вы сейчас даже здоровее многих современных скептических англичан, – улыбнулся Гелиобаз. – Вы говорили, что принесли цветок с поля Ардаф, могу я взглянуть на него?

Олвин молча вытащил из нагрудного кармана бархатную шкатулку, в которой всегда носил с собою благословенный цветок, и, осторожно вытащив его, протянул другу.

– Бессмертник! – со знанием дела заключил Гелиобаз. – Весьма редкий и, вероятно, уникальный в своём роде экземпляр! Он никогда не увянет и не поблёкнет, однако для большинства людей даже это очевидное доказательство не станет убедительным свидетельством истинности ваших слов. И я хотел бы предостеречь вас и попросить, чтобы вы хранили свою историю в глубокой тайне от мира.

Он возвратил цветок хозяину, и Олвин бережно спрятал его обратно.

– Олвин, вы когда-то спрашивали о том, откуда наш Орден черпает свои знания и на чём вообще основана наша вера. Так вот, я расскажу вам теперь, что вера наша почерпнута всецело из слов лично самого Христа!

Олвин вздрогнул.

– Лично от Христа? – с недоверием повторил он.

– Да! Выслушайте же мой рассказ. Более семи тысяч лет назад, ещё задолго до пришествия на землю Христа, люди уже становились свидетелями явления удивительных предзнаменований будущего. Желавшие посвятить жизнь поискам Истины объединялись в особые братии и жили вместе под одной крышей, занимаясь изучением наук и духовными поисками. Главным предметом их изысканий всегда оставалась тайна сотворения мира. Братья, отличаясь благочестивым образом жизни и особой воздержанностью, нередко удостаивались божественных откровений и свидетельств, так что в разное время из их числа выходили великие пророки и предсказатели, о которых рассказывает нам Ветхий Завет. Одним из них, например, был Ездра, другим – Исаак. Они вели подробные хроники многих позабытых ныне событий и, насколько могли, сохранили для нас исторические свидетельства прошлого. В их древних записях упоминается великий город Аль-Кирис, в последствие уничтоженный страшным извержением вулкана в одну ночь, так что и следа его не осталось на земле. – При этих словах Олвин ахнул от удивления. – Да, Олвин, ваше видение вполне достоверно описывает эту катастрофу, однако имя Сах-Лумы мне совершенно не знакомо. Со временем братьям являлись и иные свидетельства будущего прихода на землю безгрешного Богочеловека, который искупит грехи всего мира своей смертью и спасёт падшее человечество. Некогда чёткий образ креста появился на небе в виде световых лучей и держался на протяжении нескольких часов, свидетелями этого события стали несколько орденов в Испании, Сирии, Греции и Египте. Тогда крест начал пользоваться особенным почитаниям при совершении языческих богослужений. После таких знамений мир находился в трепетном ожидании чуда явления Бога, и тогда взошла та самая звезда на востоке, предвестившая рождение искупителя. Тогда трое древних мудрецов из Халдеи отправились в своё знаменитое путешествие, чтобы поклониться Божественному Младенцу, и я, друг мой, являюсь прямым потомком одного из этих самых халдеев. В то время мы и добавили звезду к уже существовавшему кресту в качестве священных символов нашего братства. Один из членов ордена тогда жил в отшельничестве в той самой пустыне, где Иисус постился сорок дней до выхода на своё служение. Этот брат лично общался с Богом и записал немало важных дополнений к его учению, которые не вошли в канонические Евангелия. Все они бережно хранятся нашим Орденом до сего дня в строжайшей

тайне, из них мы и черпаем наши сокровенные знания об истинном устройстве вселенной, что позволяет нам иногда помогать людям, вроде тебя, которые действительно готовы услышать и принять сердцем Истину.

– Гелиобаз, – промолвил Олвин через несколько минут потрясённого молчания. – Скажите, могу ли я тоже вступить в ваш Орден?

– Несомненно, вы могли бы присоединиться к нам, – улыбнулся Гелиобаз, – но для этого вам потребовалось бы как минимум пятнадцать лет тщательной подготовки в полном отшельничестве, а кроме того, вам пришлось бы давать обет молчания о том, что вы познаете. Думаю, такой образ жизни и такой обет не совпадают с вашим призванием поэта.

– Но ведь вы сейчас свободны – вы едете в Мехико!

– Да, но по делу братии: мне необходимо забрать один древний манускрипт, который долгое время хранил ныне умирающий брат, живущий в отшельничестве, подобно Эльзиру в Миляне. Ну а ваш путь представляется мне несколько иным!

– Моя жизнь была бы совершенной, не будь я так одинок, – вздохнул Олвин.

Гелиобаз поднялся и добродушно пожал плечо другу со словами:

– Мужайтесь! Потерпите ещё немного в своём одиночестве, уверен, оно не продлится долго!

Лёгкая дрожь пробежала по спине Олвина, и он почувствовал себя так, будто стоял на пороге огромного счастья. Гелиобаз же заметил дружелюбным тоном, исполненным сочувствия и надежды:

– Я задаюсь вопросом, свидимся ли мы с вами вновь, Гелиобаз?

– О, в весьма скором времени! Мир удивительно тесен, в конце концов, и люди понимают это, когда неожиданно находят друг друга в самых далёких уголках страны. Вы можете, если угодно, писать мне, а этой привилегии я удостаиваю немногих! – улыбнулся он. – Вы, конечно, всегда желанный гость в нашем монастыре, но, прошу вас, прислушайтесь к моему совету и не уходите в затворничество из общества, в котором вращаетесь. Работайте во славу Божью, а остальное предоставьте ему и ангелам!

– Что ж, я рад, что могу писать вам! Вероятно, я в скором времени уеду из Лондона, хочу закончить свою поэму, а дело продвигается слишком медленно в городской суете.

– Вы отправитесь за границу?

– Вероятно, я поеду в Бонн, где учился когда-то.

– Что ж, друг мой, где бы вы ни были, держите меня в курсе своих успехов, пишите по адресу Дарьяльского убежища, куда я возвращусь после Мехико. До свиданья!

– До свиданья, Гелиобаз!

И с этими словами он повернулся и ушёл, затерявшись в толпе прохожих. Олвин пристально смотрел ему вслед, но больше не видел. Его высокая фигур испарилась, как и очередная тень Аль-Кириса, правда, гораздо более вещественная, чем даже большинство людей на улицах этого города, которые спешили по своим разнообразным делам.

Глава 28. В Кафедральном соборе

Через две-три недели после встречи с Гелиобазом Олвин принял решение покинуть Лондон ненадолго. Он устал от общества, которое непрестанно осаждало его, и был обеспокоен тем, что в своей работе зашёл в тупик, наткнувшись на невидимый барьер, через который его богатое воображение не могло перескочить обычным образом. У него появилась идея отыскать какое-нибудь тихое местечко в горах, как можно дальше от популярных туристических маршрутов, спокойное место, где в магическом окружении природы он мог бы погрузиться в желанное уединение со своей упрямой музой и постараться ублажить её и привести в большее расположение к себе. Не то чтобы у него вдруг оказался недостаток мысли, в голове роились сотни идей и замыслов, однако он никак не мог подобрать для них чётких поэтических формулировок. По этой причине Олвин покинул город примерно в середине мая и пересёк канал, уносимый ленивым и приятным течением Рейна в Швейцарию, чтобы в итоге добраться до Бонна – сцены дней его молодости, а оттуда – до Кёльна.

Было уже больше восьми вечера, когда Олвин, после пары ярких дней, проведённых в Брюсселе, добрался, наконец, до Кёльна. Он поужинал в своём отеле и затем, решив, что ложиться спать было слишком рано, отправился через Площадь, глядя вверх, на величественный храм Божий, возвышавшийся над головой, – огромный Кафедральный собор с невероятно изящной резьбой и летящими контрфорсами, на которых лунный свет играл, как язычки бледного пламени. Ни единого облачка не виднелось на небе, вечер стоял совершенно спокойный, и нежное тепло разливалось в воздухе – тепло полностью вступившей в свои права ароматной весны. Площадь была пустынна, когда вдруг дрожащий гул огромного органа внутри собора вырвал его из задумчивой мечтательности, привлекая внимание. Затем стройный хор молодых голосов разорвал тишину торжественным унисоном: «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!»

Глубоко вздохнув, Олвин на секунду остановился, поражённый и растерявшийся, ибо звуки эти, он был уверен, звучали не на земле, а с самих небес! Они обладали той же нежной тональностью, что и пение, которое он слышал на поле Ардаф! Что же они могли значить для его судьбы здесь и сейчас?

На утро Олвина разбудил гудящий, громоподобный и величественный звон, исполненный тяжёлого ритма,

раздававшийся в воздухе глубоким медленным резонансом, словно грохот пушки. Просыпайтесь, люди! Спешите на молитву, ибо ночь миновала, и новый день настал! Исполненный необычайной радости, Олвин мурлыкал себе под нос, шагая по комнате, его вчерашняя страсть непременно увидеть внутреннее убранство собора всю ночь не давала ему покоя, а сейчас стала и вовсе непреодолимой. Он быстро оделся и поспешил на площадь с тем же нетерпением, с каким когда-то торопился на поле Ардаф! Взбежав по ступеням Кафедрального собора, он вошёл в широко распахнутые двери, звон колоколов тогда уже прекратился и месса кончилась, так что вновь настала полнейшая тишина.

Из тёплых лучей солнечного света он ступил в обширное, прохладное, слегка сумрачное помещение белоснежного здания величественной святыни; с непокрытой головой, бесшумным, трепетным шагом он немного приблизился к нефу и там остановился, чувствуя, как каждый нерв его артистического сознания успокаивается, радуется и вновь возвращается, как то бывало во дни его юности, в состояние спокойного восприятия грандиозности сцены.

Одолеваемый ощущением, немного похожим на страх, он стоял неподвижно, облокотившись об одну из древних дубовых скамеек, стараясь успокоить бьющееся сердце; затем постепенно и очень медленно пришло к нему осознание того, что он был здесь не один, – кто-то ещё, кроме него, находился сейчас в храме, кто-то чрезвычайно важный для него!

Под действием внезапного порыва он повернулся направо, к алтарю, где стояла статуя великого святого Христофора, и там заметил стоявшую на коленях в молитве девушку. Руки её были сложены, лицо опущено на них, так что черты её невозможно было различить, но свет из окна падал прямо на непокрытое золото её волос, очерчивая их сверкающим небесным нимбом; а вокруг её стройной набожной фигуры лучи голубоватого и розового сияния искрились широким кругом, как солнечная дорожка на воде прозрачного моря. Она была так спокойна и искренне сосредоточена на молитве!

Внезапно Олвин вздрогнул, словно поражённый электрическим шоком, и подошёл к ней тихим, благоговейным шагом, не спуская глаз с её изящной фигурки. Она была в сером – мягком, шелковистом, подобном голубиным перьям сером платье, которое ниспадало живописными, изящными складками; ещё немного приблизившись, он едва сдержал громкий возглас удивления! Что это за цветы она носила на груди? Такие белоснежные, подобные звёздам, так похожие на райские лилии!

Не те ли самые цветы он видел на поле Ардаф?

– Простите меня, – едва слышно прошептал Олвин. – Я думаю… мне кажется, что мы с вами встречались! Могу ли я… смею ли я узнать ваше имя?

Медленно она опустила сложенные ладони, очень медленно подняла голову и улыбнулась ему!

– Моё имя Идрис! – сказала она, и чистый, как колокольчик, звук её голоса зазвенел в воздухе таинственной музыкой.

– Идрис! – повторил он, как драгоценную молитву. – Идрис, моя любовь, моя жизнь! Ты пришла ко мне с небес, или же мне суждено вскоре покинуть эту землю?

– Теос, мой возлюбленный! Я пришла к тебе! – отвечала она. – И я твоя теперь в этой смертной жизни, как и в бессмертной! По собственной воле пришла я сюда, ибо чем чаще и чем сильнее ты молил Бога о спокойствии и счастье для меня, тем скорее и сам приближался к моему естеству! А теперь, о мой поэт, мы будем вместе навеки: на время этой краткой жизни, а после – и в вечности! Дни райского одиночества Идрис – в прошлом, и цель её – не смерть, но любовь!

Руки его сомкнулись вокруг её талии, губы их встретились, и при этом восторженном воссоединении человеческого и ангельского существа зазвучал раскатистый голос, как будто тысячи крыльев разом забились под сводами, отдаваясь эхом под высокими арочными потолками собора, и голос этот, ясный и звучный, провозгласил:

«Кого Бог сочетал, того человек да не разлучает!»

И вновь настала тишина, и солнечный свет ясного утра заструился через витражные окна, играя на кресте на вершине алтаря; молчание и любовь прекрасно сочетаются, когда две души сливаются в одну!

И тогда Идрис нежно высвободилась из его объятий и подняла голову, доверчиво вложив свою руку в его ладонь, и губы её разомкнулись в нежном шёпоте:

– Возьми меня за руку Теос и веди в мир!

Огромные парадные двери собора медленно распахнулись, и по ступеням вниз сошли вместе в лучах славы солнечного света Поэт и Ангел.

– Это и есть город? – спросила она. – Человеческий город, где все работают во имя добра и служат друг другу?

– Увы, нет, моя милая! – отвечал он дрожавшим от нежности голосом. – Нет на этой печальной земле такого города, где люди не работали бы лишь во имя собственной корысти, отчаянно сражаясь друг с другом!

Её вопросительный взгляд потонул в небесном сострадании.

– Идём! – мягко сказала она. – Мы двое, единые в любви и вере, должны поскорее начать наш труд! Тьма сгущается и усиливается над Печальной Звездой, но мы, быть может, с помощью Божьей, сумеем обратить тени в свет!

notes

Примечания

1

Джон Китс «Эндимион» (пер. с англ. Е. Фельдмана).

2

Theos – в переводе с греческого значит «Бог».

3

«Казус белли» – формальный повод для объявления войны.

4

«Ангел Господень возвестил Марии».

5

2 книга Ездры, гл. 10, 30—32.

6

Т. Карлейль «Перекроенный портной».

7

Пери – фантастические существа в виде прекрасных девушек в персидской мифологии.

8

Крест пользовался исключительным почитанием в храме Сераписа, а также у многих племён Востока ещё за века до пришествия Христа.